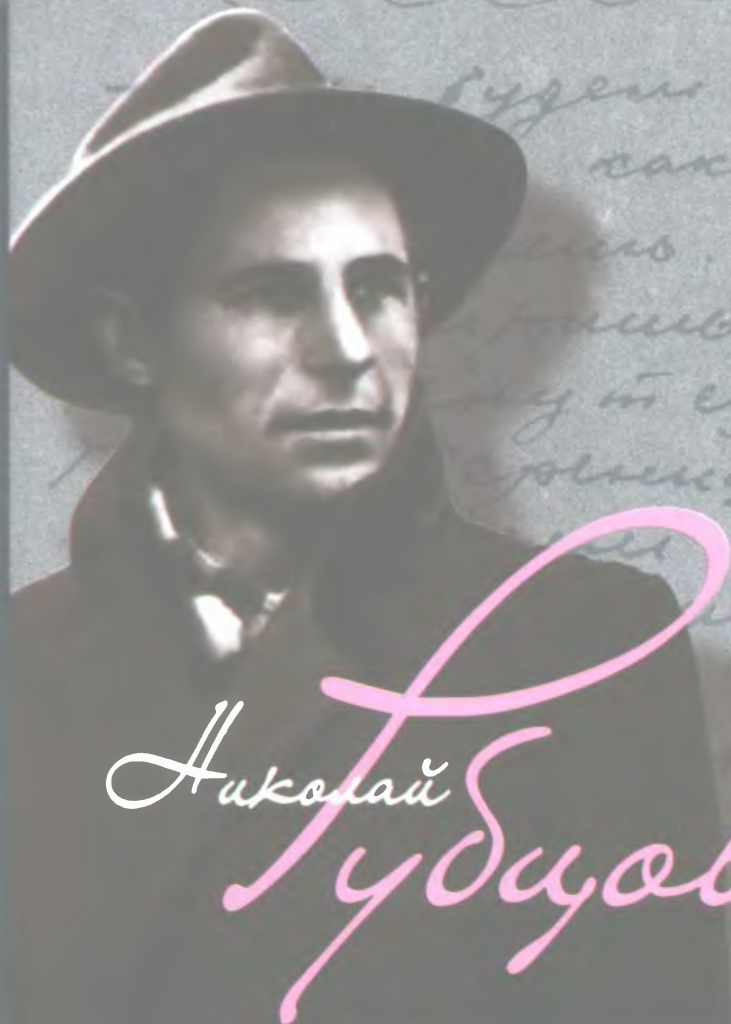


Николай Попов

83,317

1158



Николай

Губцов

в воспоминаниях
друзей

Ранее не опубликованные
стихотворения и материалы

Николай Попов

*Николай
Рубцов*

в воспоминаниях друзей

*Ранее не опубликованные
стихотворения и материалы*



Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ

ББК 83.3(2Рос-Рус)1-8 Рубцов Н.М.
П58

*Оформление художника
И.А. Озерова*

Попов Н.В.

П58 Николай Рубцов в воспоминаниях друзей. Ранее не опубликованные стихотворения и материалы. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. — 254 с.

ISBN 978-5-9524-3626-8

Этот сборник составлен из воспоминаний друзей Николая Рубцова, которые откровенно рассказывают о том, каким поэт был в жизни. Наряду с искренними воспоминаниями читателей порадуют впервые публикуемые стихи. Завершают книгу статьи критиков, помогающие даже искушенным читателям лучше ощутить тонкость и сложность поэтического мира Николая Рубцова.

ББК 83.3(2Рос-Рус)1-8 Рубцов Н.М.

© Попов Н.В., 2008
© Художественное оформление,
ЗАО «Центрполиграф», 2008
© ЗАО «Центрполиграф», 2008

ISBN 978-5-9524-3626-8

Николай
Губцов

в воспоминаниях друзей

В молодости Николай Рубцов, старшина второй статьи, служил дальномерщиком на эсминце Северного флота. Затем стал адмиралом русской поэзии, создав проникновенные лирические и патриотические стихи, которые будоражат чувства, освежают и освещают душу, позволяя в обычном увидеть или почувствовать духовно-нравственные ценности.

Этот скромный сборник составлен только из воспоминаний людей, которые лично знали поэта и, не позволив себе никаких вымыслов, честно поведали, каким он был в жизни. Надеюсь, эти искренние откровения порадуют читателей так же, как и впервые публикуемые тут стихи.

Завершают книгу статьи критиков, способных помочь даже искушенным почитателям еще лучше ощутить всю тонкость и сложность поэтического мира Николая Михайловича Рубцова.

Составитель — член Союза писателей России

Николай Попов

Николай Попов

ЗАРНИЦЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

I

Тогда мы обитали почти на разных полюсах земли. Тезка на рыболовецком траулере бороздил по морям-океанам и служил на Северном флоте. А я, строитель Иркутского алюминиевого завода, лишь иногда для развлечения плавал на лодке по Байкалу. Правда, однажды тоже едва не превратился в матроса рыбоохраны, но упустил редкий шанс порыскать на скоростном катере по озеру и впитать всю его красоту. Тем не менее мы все-таки встретились в Литературном институте. Не могу сказать, что стали друзьями. Ведь я был флегматичным прозаиком. Эта разница творческих интересов оставила нас просто знакомыми.

Теперь Николай Рубцов — классик отечественной поэзии. Думаю, почитателям, без всякой зависимости от различных дат, интересно узнать, каким был поэт в то счастливое время, когда являлся для нас просто Колей или — тезкой.

II

Среди чубатой, патлатой, косямой молодежи сразу впечатляла его профессорская лысина, значимость которой проявилась перед экзаменом по русскому языку.

Все в коридоре были сосредоточены, хмуры, напряжены. А Коля с безмятежной улыбкой вдруг запросто вслух просклонял неуклюжее слово «кенгуру». Виртуоз! Наверняка благодаря этому и отхватил потом заветную пятерку.

Так утверждать мне позволяет собственный пример. Вместо оценки по иностранному языку в моем аттестате чернел жирный прочерк — в нашей вечерней школе на Байкале не существовало нужного учителя. Но для столичного вуза это не имело значения. Хочешь учиться? Сдавай экзамен. Или в двадцать шесть лет прощайся с мечтой.

Поэтому я обреченно взял со стола явно несчастный билет по немецкому языку, который изучал еще в детстве и с тех пор начисто забыл. Для перевода оставался единственный способ: сличать похожие слова текста и словаря. Отыщи-ка их в толще страниц... Каторжное занятие! Очнулся уже в пустой аудитории. За длинным столом скушаяще томились три «немки». Средняя предложила отвечать. Едва успев перевести от силы десятую часть текста, я прочитал еще меньше потому, что солидная главная «немка» гневно замахала руками:

— Хватит, хватит! С вами все ясно! За такие знания больше единицы я поставить не могу! Не имею никакого права!

Оценка была справедливой. Но не мог же я, почти сажженный строитель, привыкший одолевать любые трудности, безропотно спасовать перед женщинами. Чуткая интуиция шепнула что-то спасительное. В ответ на сочувствующий взгляд молоденькой «немки» я спросил:

— А как считаете вы?

Смутившись, она возмущенно бросила:

— Ну и... Единица!

— А что скажете вы? — обратился я к третьей.

— Увы, кол... — печально улыбнулась она.

— Пожалуйста, извините, но три единицы — это уже не просто осиновый кол, а — спасительный трояк.

Хмыкнув, они переглянулись и великодушно признали мою правоту. Вот как спасали нас во время экзаменов бесценные для сочинителей способности — находчивость и чувство юмора. Конечно, наше дополнительное счастье состояло в том, что преподаватели понимали это и ценили выше обычных знаний. Слава за это им! Вечная слава!!!

По традиции тех лет мы, безмерно счастливые студенты единственного в мире Литературного института, первого сентября отправились убирать картошку в деревне Шубино. Разумеется, пекли ее в костре. Коля сразу превратился в кока, заявив, что был самым лучшим пекарем еще в детдоме. Уж не знаю, какое особенное мастерство продемонстрировал нам, зато сам ел картошку с завидным вкусом и шумно вдыхал ее дух, бубня:

— Детством пахнет... Сладким вкусом незабвенного детства... Славное времечко было, веселое...

И точно вернулся туда, упоенно кувыркаясь со скирды, которую мы сложили из подручной соломы. При этом первой страдала коричневатая шляпа, то сплющиваясь, то белея от мякины. Коля вполне мог резвиться без нее, да стеснялся нас — волосатых. Вовсю балагуря, тщательно выпрямлял купол, поля, убирал соломины и сдувал оставшуюся мелочь. Забавно было видеть, как обладатель солидной лысины очень серьезно занимался ребячеством. Наконец торжественно водружал шляпу и снова в полном одиночестве настырно карабкался на скользкую скирду. Кстати, больше у нас никто не носил подобного благолепия, надо полагать, призванного не только закрывать неприличную плешь, а в равной степени увеличивать рост, чувство собственного достоинства и сразу превращать в настоящего горожанина!

Впрочем, натура скоро взяла свое: Колю потянуло на конный двор. С тех пор перестал участвовать в вечерних спорах о поэзии и трех ее современных богатырях, предпочитая блаженствовать в ночном. И раз, в ответ на подначки, что едва ли умеет сидеть верхом на коне, с гиканьем и свистом промчался по улице на пегом жеребчике с голой спиной. Черный хвост дымом клубился по ветру. Мы немо глазели, как удалец канул в поле. Не в тех ли сиреневых сумерках бабьего лета родились ныне всем известные строфы:

Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

III

За ударную работу нас доставили на автобусе в Мелихово познакомиться с музеем Чехова. Аляповато разукрашенная голубятня, в тесноте которой почему-то любил писать Антон Павлович, произвела на меня такое же тяжкое впечатление, как скелет колхозного коровника перед усадьбой. Экскурсовода не было. Пришлось мне, еще на стройке рискнувшему одолеть всего классика, взять эту роль на себя. Важно гундосил, смущая всех эрудицией и весьма вольным толкованием некоторых деталей, событий. Особенно странным казалось мужество очаровательной Книппер-Чеховой, которая блистательно играла всякую чертовщину в то самое время, когда в одиночестве умирал благородный супруг. Первым за мной шел профессор Лидин, заведующий кафедрой творчества. Я постоянно ждал выволочку за вольнодумство и неприличный тон. Владимир Германович почему-то деликатно молчал. Возможно,

просто не слышал меня от старости. Приблизились к серому магнитофону с размашистой надписью «Чайка». Я по-прежнему торжественно прогундосил:

— А вот на этом историческом инструменте Антон Палыч записывал свою знаменитую пьесу «Чайка».

— Вы уверены? — еле слышно спросил старец.

За ним шел Коля. Встрепенувшись, он издал потешный звук, напоминающий чиханье кошки. А уже во дворе добавил:

— Ну, ты и загну-ул... Будто на баке...

Полагаю, тут уместны несколько примеров, как он сам умел погибать. Следующей была экскурсия в Горки. Мы почтительно осмóтрели белый саркофаг, очень впечатляющий на фоне торжественного караула замерших елей. Дальше последовал шорох страниц нашей славной истории. В завершение солидная седовласая дама ритуально спросила:

— Уважаемые товарищи, у кого есть вопросы? Пожалуйста, я слушаю вас...

Наступило трудное раздумье, которое прервал Коля, робко промолвив:

— Интересно, что предпочитал... это самое Владимир Ильич по революционным праздникам?

Дама полыхнула ярче всех знамен.

Вскоре профессор Пospelов на экзамене любопытствовал:

— Скажите, пожалуйста, чем завершилась для художника Пискарева роковая встреча на Невском проспекте?

— Бедой.

— А если конкретно? — уточнил Геннадий Николаевич, привычно проверяя, читал ли студент повесть. Может, надеялся ответить лишь по учебнику.

Еще не подозревая о таких тонкостях при сдаче экзамена, Коля скорбно пояснил:

— Когда взломали дверь, то на полу комнаты увидели распростертое тело Пискарева, в горле которого торчал обломок лезвия «Нева».

— Позвольте, позвольте, какая «Нева»? — оторопел Пospelов. — Да ее тогда еще просто не существовало!

— Ну, ведь он правда бритвой перерезал горло, — твердо уточнил Коля и с виноватцей добавил: — А обломок «Невы»... Это я — так...

— Впервые слышу подобное... Во-о, сразу видно сочинителя! — улыбнулся Геннадий Николаевич, довольно украсив зачетку пятеркой.

Каким гоголем ходил тезка по институту, козыряя оценкой самого Пospelова, которому мало кто сдавал экзамен с первого раза.

Следующая пятерка чемпионской медалью блеснула перед нами на языкознании — до отвращения постылом предмете, который я сдал на тройку лишь с третьего захода и то — по совокупности.

Коля с билетом в руке сел перед Утехиной. Насутился, старательно припоминая, сколько посетил лекций, бесполезных для поэта, меньше всего озабоченного тем, как зарифмовать верхнегубные и нижнегубные звуки. Не мешая ему в столь ответственный момент, Нина Петровна поправила перед круглым зеркальцем пышную прическу, внимательно удостоверилась, что еще не поблекла помада ярко накрашенных губ, осмотрела полную грудь в белой узорчатой кофточке. Что-то все-таки с нее сдула. Затем сочувственно взглянула на безмолвного Колю. Наверное, поняв, как в такие минуты ему необходим вдохновляющий дым, закурила беломорину и наконец поинтересовалась:

— Так вы что, все еще не готовы?

— Почему же? — встрепенулся Коля. — Уже давно...

— Тем лучше. Я внимательно слушаю.

К сожалению, заядлому прогульщику, даже лишенному за это стипендии, нечем было утешить милую женщину. Подобная канитель оскорбительна для заслуженного доцента. Уже с ноткой раздражения она спросила:

— Вы какой-нибудь учебник держали в руках?

— А как же... Разумеется...

— Тем лучше. Значит, нам проще разговаривать. Чикабаву читали?

Коля сосредоточенно припоминал...

— А Розенталя?

— Боже, кто только русским языком не занимался... — сокрушенно вздохнул Коля и чуток погода возразил: — Но разве они могли что-то сказать на сей счет лучше Сталина?

Нина Петровна так всколыхнулась от резонности этих доводов, что выронила папиросу на кофточку. Потом, не обращая внимания на дымящую под столом беломорину, с удовольствием расписалась в зачетке. Видели б вы, как хвастался Коля перед нами этой пятеркой с плюсом и восклицательным знаком!..

Последний пример завидной находчивости Рубцова. Рядом с институтом существовал журнал «Знамя». Коля заглянул туда, чтобы получить от Передреева обещанный рубль. Анатолия на месте не оказалось. Зато появился Эдуард Балашов. Познакомились. Узнав, что тот — друг Передреева, Коля многозначительно подмигнул:

— Он хотел дать мне целковый. Раз ты его друг, может, расщедришься, а? Толик потом тебе все равно вернет. Обязательно. Он человек слова.

Увлеченному умопомрачительной метафизикой индуизма, Эдуарду понравилась эта простодушная мысль. К тому же в кармане пиджака зазывно екала бутылка спирта. Он предложил обождать общего друга в соседней шашлычной «Эльбрус». Отлично посидели, все об-

судив. Даже принципиальную разницу между индийской и русской поэзией. О Передреееве, естественно, забывали. Сохранять равновесие на тротуаре Коле помогала морская привычка к устойчивости. Однако уже на Пушкинской он спохватился:

— Да, ведь ты обещал мне целковый...

IV

Теперь моя лысина солидней рубцовской. Это обязывает более благоразумно оценивать минувшее время и воздерживаться от эмоциональных перехлестов. Обещаю быть беспристрастным, аки летописец Пимен.

Сейчас легенды гласят, будто прямо на первом курсе Николай Рубцов стал кумиром и обзавелся целой толпой страстных поклонников. Я почему-то не замечал их. Видимо, из-за того, что жил в самом конце коридора и редко покидал свою комнату. Суровая проза вынуждала неустанно сидеть за столом. К тому же с нами поступал талантливый Борис Примеров с отменной подборкой в «Октябре». Надеюсь, вы еще помните его последующие стихи. А щеголеватый ленинградец Сергей Макаров тоже сразу ошеломил всех целым разворотом в «Огоньке» солнечной лирики с ликующей образностью:

Я приветствую уйму отрадных начал!
Отвергаю унынье возможных разлук!
Стрелы молний плотнее насыплю в колчан,
Семислойную радугу взяв, словно лук!

Молодой поэт мастерски развил заявленный образ, пустив стрелы молний точно в цель. Чтобы не травмировать чутких читателей, ограничусь только этой строфой. А рядом с Макаровым грузно сутулился воронежец Павел Мелехин, который мрачно вопрошал:

Сколько нам отпущено? Полвека?
Жизнь пронзает, словно острие.
Ж-жик и — нету. Даже человеком
Стать не успеваешь за нее.

Или оцените монолог его прозорливого критика у картины:

Все — хорошо. И этот солнца круг...
И это тело женщины нагое,
Пленительное, как волшебный звук.
А взгляд... А грудь... И многое другое...
И фон ты выбрал верный — голубой.
И тени здесь достаточно, и света...
Но не винишь ли, братец, ты наш строй
В том, что она — разута и раздета?

Чем Коля мог парировать хотя бы эту троицу? Лишь «Видениями на холме»? Но кто их тогда знал, если он стеснялся или просто не смел читать свои стихи даже в Шубине, где по вечерам все были предельно откровенны и по-юношески бесцеремонны. Позже он прославился тоже в основном при помощи гармошки, досаждая всем жаждущим обычной тишины для встречи с капризным вдохновением. Разухабистая «Жалоба алкоголика» уже веселила только прохожих на улице.

Впервые со стихами Рубцова я познакомился необычно. В начале зимних каникул он собрался куда-то ехать и зашел с просьбой оставить на сохранность чемодан. Мы жили на разных этажах, друзьями стать по-прежнему не успели. Вдруг — на тебе... Столь удивительное доверие озадачило. Но раз тезка всем, кто был значительно ближе, почему-то предпочел меня, пришлось согласиться.

Коля вернулся с потертым баулом, к овальному боку которого квадратной заплатой прилепилась фанерная крышка с проволочной петелькой для висячего замка, где-то посеянного. Оставленный даже посреди вокзальной площади или толкучки, этот «чемодан»

мог привлечь внимание лишь своим убожеством. Все же Коля бережно спрятал его в стенной шкаф и плотно прикрыл дверцы. Я истолковал заботу просто как желание убрать незavidный баул подальше с глаз. Довольно часто тезка прогуливался по коридорам с полухромкой, лихо выворачивая веером ее радужные меха. Недоумевая, почему заодно не прихватил равноценное сокровище, я спросил:

— А гармошку берешь с собой?

— Не... Что ей сделается, — смутился он от рискованного предпочтения и простился.

Намереваясь подмести комнату, я вскоре полез в шкаф за веником. Тот был задвинут баулом к самой стене. Достать его мешала низкая полка. За прошивную сыромятную ручку я выволок увесистый баул и поднял. Крышка тотчас отскочила. И на пол вывалился ворох листов, испещренных стихами. Ни я, прозаик, ни мой сосед — поэт не имели столько рукописей. Даже — вместе. Мы ахнули от изумления. Потом я начал собирать листы. Вдруг появилось неодолимое желание познакомиться с написанным. Ведь это надо же такую уйму накатать! Я запер дверь на замок и прямо на пол опростал баул. Сидя у фантастического сугроба, мы читали, читали... До последнего листа, который лег под крышку. Больше всего нас удивило старание, с каким поэт продирался сквозь асфальт ученичества. Запомнилось же только вот это озорноватое стихотворение:

Подморозило путь наш древний.
Поджимающий холод — лют.
Бродим кучею по деревне.
Просим денег. И те дают.

Подают, конечно, немного
И ворчат, что ребята — те...
Благодарствуем! Слава богу!
Праздник будет на высоте!

С полных кружек сдувая пену,
Всенародный поддержим гост!
И опять — на ночную смену
Электричкой за сорок верст...

(Стихотворение публикуется впервые).

Уверен, что даже сейчас Коля не отрекся бы от молодого экспромта. Впрочем, сейчас я уже не так строг, понимая, насколько дорого для поклонников каждое слово поэта. И потому предлагаю вам редкую возможность познакомиться с неведомым прежде творчеством Николая.

«Предисловие к рукописному сборнику «Волны и скалы»

В этот сборник вошли стихи очень разные: веселые, грустные, злые. С непосредственным выражением и с формалистическим, как говорится, уклоном. Последние — не считаю экспериментальными и не отказываюсь от них, ибо, насколько я чувствую, получились они живыми. Главное, что в основе — стихи. Любая игра — не во вред стихам, если она — как органическое художественное средство. Это понятно каждому.

Кое-что в сборнике субъективно. Это «кое-что» интересно только для меня, как память о том, что у меня было в жизни. Это — стихи момента. Стихотворения «Березы», «Утро утраты», «Поэт перед смертью» — не считаю характерными для себя в смысле формы, но душой остаюсь им близок. Во всяком случае Бурьгиным, Крутецким и т. п. тут не пахнет. И пусть не суются сюда со своими мнениями унылые и сытые «поэтические рыла», которыми кишат литературные дворы и задворки. Без них во всем разберемся.

В жизни и в поэзии — не переношу любую фальшь. Каждого искреннего поэта понимаю в любом виде, даже в самом сумбурном. По-настоящему люблю из современников очень немногих. Четкость общественной позиции поэта считаю не обязательным, но важным и благотворным качеством. Им не обладает в полной мере, по-

моему, никто из молодых поэтов. Это — характерный знак времени. Пока чувствую его и на себе.

Сборник «Волны и скалы» — начало. И как любое начало, стихи не нуждаются в серьезной оценке. Хорошо уже то, если у кого-то останется доброе воспоминание.

Ленинград, 11 июля 1962 года».

Столь суровое кредо подкрепляю «молодыми» стихами:

МОЕ МОРЕ

Эх ты, море мое штормовое!
Как увижу я волны вокруг,
В сердце что-то проснется такое,
Что словами не выразишь вдруг.
Больно мне, если слышится рядом
Слабый плач перепуганных птиц.
Но люблю я горящие взгляды,
Озаренность взволнованных лиц.

Я труду научился во флоте.
И теперь на любом берегу
Без большого размаха в работе
Я, наверное, жить не смогу...
Нет, не верю я выдумкам ложным,
Будто скучно на Севере жить.
Я в другом убежден: невозможно
Героический край не любить!

ПОЭЗИЯ

Сквозь-ветра поющий полет
И волн громовые овации
Корабль моей жизни плывет
По курсу к демобилизации.

Всю жизнь не забудется флот,
И вы, корабельные кубрики,
И море, где служба идет
Под флагом Советской республики.

Но близок тот час, когда я
Сойду с электрички на станции.
Продолжится юность моя
В аллеях с цветами и танцами.

В труде и средь каменных груд,
В столовых, где цены уменьшены
И пиво на стол подают
Простые красивые женщины.

Все в явь золотую войдет,
Чем ночи матросские грезили...
Корабль моей жизни плывет
По морю любви и поэзии.

ЭКСПРОМТ

Космонавты советской земли —
Люди самой возвышенной цели,
Снова сели в свои корабли,
Полетели, куда захотели!

Сколько ж дней, не летая ничуть,
Мне на улице жить многостенной!
Ах, я тоже на небо хочу!
Я хочу на просторы Вселенной!

Люди! Славьте во все голоса
Новый подвиг советских героев!
Скоро все улетим в небеса
И увидим, что это такое...

Только знаю: потянет на Русь!
Так потянет, что я поневоле
Разрыдаюсь, когда опущусь
На свое вологодское поле...

*(Стихотворения «Мое море», «Поэзия»
и «Экспромт» публикуются впервые).*

Узнали самокритичного автора? То-то же...

Кстати, «Горницу» я впервые заметил у Анатолия Жукова, где обмывалось новое творение. Как все культурные люди, они не засоряли стол селедочными останками, а почти аккуратно складывали их на лист бумаги, украшенный знакомым каллиграфическим почерком. Там же торчало несколько окурков. Один еще угрожающе дымил. Скользя глазами по строчкам, я протянул:

— Э-э, братцы, вдруг это будущий шедевр! За такое похабное отношение к классике вот я вас на студком!

Совестливый Жуков натужно потянулся к бычку. А Коля озаренно сказал:

— Ты лучше сходи за добавкой.

Недавно я поинтересовался у Анатолия, жива ли реликвия, очень подходящая для нового рубцовского музея.

— Да помню, что сунул ее в какую-то книгу, но никак не найду, — повинился он.

Даже не знаю, как сие комментировать. Лишь обращу внимание на примеры, когда многократно переизданный текст не соответствовал оригиналу. Вот общеизвестная ироническая «Элегия»:

Стукнул по карману — не звенит.
Стукнул по другому — не слышать.
В коммунизм — безоблачный зенит —
Улетают мысли отдыхать.

Стукнуть можно по столу или подоконнику. Чуткий к слову, Коля не мог так элементарно оговориться. Тут ближе к истине и естественней:

Хлопнул по карману — не звенит.
Хлопнул по другому — не слышать.
В коммунизм — безоблачный зенит —
Улетают мысли отдыхать.

Завершающая строфа, тоже без всякой Ялты, повторяла начальную. Кто это редактировал — не ведаю. В «Осенней песне» так же фигурировал не пароходный гудок, а «вдали раздавался милицейский свисток». Пустяк, это несущественно для восприятия в целом? Весьма сомневаюсь.

V

Славная традиция обязывала нас учить иностранный язык. Бывший матрос рыболовного тральщика, наверняка заходившего в иноземные порты, Коля знал несколько английских слов. Это его не устраивало. Хо-

телось полностью освоить английский. Но почему-то не удалось. Тогда попробовал приобщиться к немецкому. Тоже получилась осечка. А суровая учебная часть прижимала за прогулы, угрожая лишить стипендии. Пришлось Коле заняться французским. Он тоже оказался не легче, хотя милейшая Любовь Васильевна Леднева всеми способами пыталась приворожить нас к языку, на котором писали Вийон, Ростан, Верлен, Рембо, Бодлер, Аполлинер!

— Да-да-да... — охотно соглашался Коля. — Это прекрасные поэты! Мне никогда не стать таким хотя бы потому, что ведь не могу же я превратиться во француза. Я — русский. Им и останусь. Так зачем зря гробить время? Лучше потратить его на стихи.

— Ну почему ж это зря? Вдруг попадете в Париж! — соблазняла Любовь Васильевна. — Идете, значит, вы по Монмартру, а навстречу — самая красивая девушка! Вы ее, естественно, под ручку...

Подмигнув, она шмыгнула от удовольствия и с пафосом произнесла на французском что-то завлекательное.

— Париж... Самая красивая девушка... — с улыбкой протянул Коля, многозначительно блестя смородиновыми глазами. — Ну и придумаете ж вы... Да разве такое возможно? Нет... Ведь траулеры не заходят в Париж.

Тогда неумемная Любовь Васильевна применила последнее средство, прочитав «Осеннюю песню» Верлена и ее перевод, сделанный Брюсовым.

— Как это бесконечно далеко... — огорчился Коля.

— Вот и приблизьте! Вы же все-таки поэт!

Это наконец-то задело его за живое. Записал точный подстрочник, с задумчивым прищуром внимательно выслушал подлинную ритмику стиха и обещал на следующее занятие принести перевод. Припомнив пре-

жные навыки, я тоже рискнул перевести «Осеннюю песню», чем с нетерпением и похвалился, торжественно прочитав:

Глухие рыдания
Скрипок осенних
Терзают мне душу...
И, вспоминая
Деньки золотые,
Я тоже рыдаю...
Иссохший, увядший,
Листочек опавший
Кому теперь нужен?
И ветры свирепые
Ради забавы
Кружат меня
И кружат...

— Ничего... Не хуже, чем у Брюсова, — одобрила Любовь Васильевна.

Благодарный за эту похвалу, я все-таки ждал, как оценит, чем перешибет меня Коля, который недовольно буркнул:

— Почему ты зарифмовал концовку?

— Просто так получилось. Да и рифмы-то здесь нет — лишь созвучие, — оправдался я и перешел в наступление: — А ну покажи, что сделал ты?

— Нет, сперва ответь, почему ты зарифмовал концовку верлибра? Так нельзя. Это — неправильно.

Разговор невольно перешел на технику стихосложения. Мало того что я ухитрился зарифмовать железобетонное сочленение «Гидпроспекцфундаментстрой», — мои стихи уже всюду печатались в областных газетах, звучали по радио, а тезке еще просто нечем было козырнуть. Поэтому спор особенно долгим был потому, что наконец выяснилось: перевода у Коли нет. Да и какая там к черту «Осенняя песня», если у человека исполнилась заветная мечта — поступил в Литературный институт! Совсем не то настроение для стонов, рыда-

ний. А писать без души, лишь по необходимости... На это его не мог вдохновить даже Верлен. Следовательно, шестьдесят второй год завершился без песни, которой поэт впоследствии гордился, утверждая, что она получилась лучше, чем у самого Верлена.

Когда же это все-таки произошло? Могла ли песня возникнуть еще до появления творческого импульса? О переводе на занятиях французским деликатно не вспоминалось. В перечне стихов, которые осенью шестьдесят третьего года обсуждали на творческом семинаре, песни нет. Что весьма странно, если она уже существовала. Следующее лето выдалось очень урожайным: почти сразу «Молодая гвардия», «Юность» и «Октябрь» дали целые подборки. Настоящий триумф, редко выпадающий на долю поэта без принадлежности к знаменитой элите. До пессимизма и стонов ли тут?

Однако счастье оказалось кратким. После ряда хмельных скандалов Коля вернулся в родную Николу, затерянную в первобытной глухомани. Так совпали трагизм обстоятельств и смятение души, позволив на собственной шкуре прочувствовать отчаяние Верлена. В результате осенью шестьдесят четвертого года возникла первая попытка обещанного перевода. Вот она:

По мокрым скверам проходит осень,
Лицо нахмуря.
На громких скрипках дремучих сосен
Играет буря!
В обнимку с ветром иду по скверу
В потемках ночи.
Ищу под крышей свою пещеру —
В ней тихо очень.
Горит пустынный электропламень
На прежнем месте.
Как драгоценный какой-то камень,
Сверкает перстень...
И мысль, летая, кого-то ищет
По белу свету...
Кто там стучится в мое жилище?
Покоя нету!

Ах, это злая старуха осень,
Лицо нахмуря,
Ко мне стучится, и в хвое сосен
Не молкнет буря!
Куда от бури, от непогоды
Себя я спрячу?
Я вспоминаю былые годы
И — плачу...

Однако это чем-то не понравилось творцу. Возможно, излишне вольной трактовкой сюжета. Последовала новая попытка:

Листвой пропащей, знобящей мглою
Заносит буря неясный путь.
А ивы гнутся над головою,
Скрипят и стонут — не отдохнуть.
Бегу от бури, от помрачений...
И вдруг я вспомню твое лицо,
Игру заката во мгле вечерней,
В лучах заката твое кольцо.
Глухому плеску на дне оврага,
И спящей вербе, и ковылю
Я, оставаясь, твердил из мрака
Одно и то же: — Люблю, люблю!
Листвой пропащей, знобящей мглою
Заносит буря безлюдный путь.
И стонут ивы над головою,
И воет ветер — не отдохнуть!
Куда от бури, от непогоды
Себя я спрячу?
Я вспоминаю былые годы
И — плачу...

Опять в пылу творения случилась незадача: слишком явно выплеснулось личное чувство. Привыкший к аскетической скромности, Коля не мог позволить себе такого кощунства и принялся за очередной вариант:

Потонула во тьме отдаленная пристань.
По канаве помчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья.
И вдали раздавался милицейский свисток.

Поскольку автор счел свою задачу выполненной, мне тоже осталось лишь недоумевать, откуда возникла столь нелепая дата?

Таким взбудораженным я видел тезку впервые. Не ведаю, как случилось, что не выплеснул этот восторг раньше и более близким друзьям, а пронес его до моей комнаты — последней в конце длинного коридора на шестом этаже, и, распахнув дверь, ликующе воскликнул:

— Знаешь, кого я сейчас видел? Удивительнейшего человека! Поразительнейшего!

— Чем же он тебя так сразил?

— Да всем! Представляешь: по суетной улице Горького не спеша идет человек. У него длинные, чуть кудрявые русые волосы, усы, борода... Он в домотканой рубахе, подпоясанной витым шнурком, в таких же холщовых штанах, босиком... Вокруг бурлит толчея всяких зевак. Они перемигиваются, хихикают, крутя пальцами у висков. А ему хоть бы хны... Синие глаза спокойные-спокойные... Будто идет вовсе не по улице Горького, а где-то полем...

На газонах еще дотаивал снег. Правда, тротуары уже подсохли. Но все равно изрядную закалку следовало иметь, чтобы неторопливо шествовать от Манежной до площади Маяковского. Почему-то больше всего удивленный именно этим, я подмигнул:

— Долго же твоему красавцу пришлось отогреться в метро...

— Олух! Ни черта ты не понял! Кретин! — до слез возмутился Коля и хлопнул дверью.

Звука его шагов по коридору я не слышал потому, что сам Коля до сих пор ходил в подшитых валенках. Понимаю: прежде всего его восхитили красота и характер воскресшего древнего молодца, но невдомек, почему тезка не догадался познакомиться с ним, чтобы утолить естественное любопытство, а то и завести дружбу.

Ведь это немедленно сделал бы любой репортер каждой газеты. И последний резонный вопрос: почему столь редкий случай не обрел поэтического воплощения? Неужели это я так неуклюже смазал драгоценные впечатления?..

VII

По сей день витают легенды, будто Рубцова одолевали поклонницы. И он благосклонно привечал их. Не знаю, не видел таких счастливиц. Но этот занятный случай, проясняющий истину, жаль оставлять втуне. Была у меня знакомая стюардесса международных авиалиний. Красавица. До сих пор не пойму, чем пленил златокудрую Стеллу, всегда благоухающую Эдемом. В очередной визит привезла она шампанское, торт и остальную закуску. По традиции мы душевно отметили встречу. После взаимных ласк я еще угостил Стеллу отменными Колиными стихами. Она разругалась от волнения. Глаза полыхнули всполохами. Потупясь, робко спросила:

— Как бы на него хотя бы взглянуть?

— Да пожалуйста. Ради тебя я готов на все. Сейчас же встретим его где-нибудь в коридоре с гармошкой или гитарой.

На нашем этаже не удалось. Повезло лишь на следующем. Коля сомлел от вида такой чаровницы и безропотно последовал в мою комнату. Чтобы не мешать им допить шампанское и вкусить остальное, я от случайного шатуна закрыл дверь на замок. Посмотрел телевизор в клубе, погонял в бильярдной шары. Уже в полночь осторожно подошел к своей двери. Тишина. Никаких всхлипов страстной Стеллы, почему-то всегда вспоминающей любимую мамочку. Осторожно во-

шел в сумрачную комнату. Во всей своей роскошной наготе Стелла млечно светилась на одеяле.

— Ну, как миновал исторический вечер?

— Да ну его... Вместо дела все бубнил свои стихи...

— Неужто даже не прикоснулся к тебе хоть губами?

— А-а-а... Давай раздевайся скорей!

Невозможно выразить беспомощными словами всю феноменальную выдержку, проявленную Колей рядом с несравненной одалиской. Не эта ли флотская сила воли позволила ему затем встать рядом с Тютчевым, Фетом, Есениным?..

VIII

Все площадки этажей напротив лифта украшали большие портреты Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Добролюбова, Чернышевского и Чехова. Однажды ночью они пропали. Все. Утром поднялся переполох. Начальство не знало, что думать, на кого грешить. Безысходность заставила проректора Палехина вместе с комендантом общежития стучаться подряд во все комнаты или подбирать ключи в длинной вязанке. Открыли сто двадцать четвертую направо от лифта и сквозь мглу табачного дыма увидели портреты, которые стояли на подоконнике, на письменных столах и пустой кровати. Перед ними на краю второй кровати сидел Коля, приехавший на сессию для заочников.

— Ты это... Что это значит?! Ты что, спятил?! — загремел Циклоп. — Сейчас же вызову милицию! И тебя выкинут отсюда к чертовой матери! Больше ноги твоей здесь не будет!

Коля был недоволен вторжением, но начальству не возражают. Особенно — при упоминании милиции и

угрозе лишить крыши над головой. Он подождал, когда Палехин выдохся, и в оправдание лишь вздохнул:

— Да что... Здесь даже не с кем посидеть...

— Как это посидеть? Провонял всех табачищем! Вот отсюда!

— Ну, просто так... — разъяснил Коля, между ног которого белела банка, полная окурков.

Ни единой бутылки рядом я не заметил. Зато вспомнил недавний случай у правдинской кассы, где Евтушенко хотел познакомиться с конкурентом, а тезка брезгливо отказался от подобной чести. Когда мы выносили портреты, он стоял, понуро склонив голову. Метровые полотна в рамах были тяжеловатыми. Возвращал я их на крючья со стремянки. Все равно поканителился от неудобств. Как же хилый тезка сумел быстро и незаметно повернуть столь сложную операцию? Большая головоломка для будущих исследователей.

IX

Развеселой новогодней ночью я спускался по лестнице в свою комнату на втором этаже. Гляжу, внизу маячит знакомая лысина. Догнал Колю. Он прибыл навестить Москву и заодно — родное общежитие, поскольку во время приездов из Вологды или Николы предпочитал не обременять ночевками московских знакомых, в основном живущих в тесноте. И вот что меня удивило: такая праздничная ночь, а он — без единой хмелинки в глазах. Почему? Видно, стряслось что-то более важное, чем встреча обычного Нового года. Из кармана брюк торчала свернутая трубкой бумага, в руке белел теннисный шарик. Подкинув его к потолку и ловко поймав, Коля сказал:

— Здравствуй. С наступившим тебя. Идем сыграем.

Я рассмеялся от этой причуды. Вдобавок не умел играть в настольный теннис. Но неугомонный Коля предложил:

— Тогда давай сразимся в бильярд.

Здесь я чувствовал себя уверенней и охотно поддержал затею, поскольку все равно не смог бы уснуть. А ему, судя по всему, было явно некуда деться. Это нас объединило. Кроме того, мы ни разу не встречались за бильярдным столом. Устанавливая шары, тезка подмигнул:

— В такую ночь грех просто играть. Давай на стопарь!

Любая ставка сейчас равнялась нулю: я не собирался проигрывать, а получить выигрыш, хоть Коля уже стал автором «Звезды полей», было немыслимо — это на его залосненном костюме и впалых щеках не отразилось. Ладно, стали играть. Чтобы я не скучал, пока он тщательно прицеливался по шару, Коля дал бумажную трубку. Это оказались листы большой статьи, вырванной из «Дружбы народов». Публикация была посвящена «Звезде полей». Когда ты не напечатал еще ни одной стоящей строки, а твоему сопернику посвящено столь многостраничное признание, в котором он утверждён рядом с Тютчевым, Некрасовым и Фетом, — это впечатляет... И триумфатор выигрывал партию за партией, накопив целую бутылку. Долг платежом красен. Я хотел сходить к такси. Но тезка благодушно улыбнулся:

— Да что ты... Все уже выпито. Как-нибудь потом расквитаешься.

Х

Примерно год спустя я варил на кухне борщ, читая в «Известиях» сенсационную статью об английском разведчике Филби, который почти сорок лет неуязви-

мо работал на нас. Все студенты были на лекциях. В общежитии царила ночная тишина. Внезапно коридор огласила лихая матросская словесность. Это Коля на бегу отбивался от Циклопа, который считал себя бо-ольшим поклонником настоящей литературы, но все же терпеть не мог в общежитии посторонних и потому ретиво преследовал такового. На курьерской скорости миновав кухню, тезка юркнул в «сапожок». Затем в дверях возник запыхавшийся Циклоп и одышливо просипел:

— Тут был Рубцов?!

— Нет. Наверняка повернул в другое крыло или порскнул на седьмой этаж, — соврал я, зная, что проректор не видит человека за десяток шагов.

— Ч-черт, опять явился! Будет слоняться тут, портреты снимать! Я ему!..

И солидный проректор с удивительной для его возраста прытью рванул по ложному пути. А немного погодя Коля вновь показался в проеме двери. Ведь скрыться из «сапожка» было некуда.

— Стой! Привет. Погоня уже не страшна. Давай пообедаем, а то одному скучновато.

Коля с шумом втянул носом сытный дух наваристого борща с сахарными костями и смешливо хмыкнул.

— Что, радуешься спасению?

— Да не... Просто нечаянно вспомнил одно изречение Омара Хайяма.

— Он догадался выразиться именно по сему случаю? Оч-чень интересно! Что же изрек?

По привычке немного помедлив, Коля торжественно произнес:

Хорошо, когда друзей — не счастье!
Ты поднес мне радостную весть.
Ты всегда считался быстроногим —
В гастрономе четвертинки есть!

Он явно намекал на тот новогодний выигрыш в бильярдной. Я не люблю ходить в должниках, поэтому немедленно согласился:

— Пожалуйста!

— Да что ты... — отмахнулся Коля. — Я шучу. Не стоит на пустяк терять время.

Ел он медленно, казалось внимательно слушая мои восторги о легендарном Киме Филби. А когда я наконец выдохся, обескураживающе спокойно протянул:

— Отличный борщ... Настоящий флотский. Большое тебе спасибо. Ведь я нынче еще не ел.

Только потом я узнал, что в тот день секретариат правления утвердил его прием в Союз писателей. Сам бог велел соответственно отметить историческое событие. А имениннику пришлось удирать от разъяренного Циклопа и с голодухи отречься от законной бутылки. Конфуз...

XI

Все-таки бывают же на свете чудеса, в которые с трудом веришь даже наяву... Вдруг встретил на вахте Павла Мелехина, о коем недавно прочел в «Литроссии» скорбный некролог. А он — не просто жив, но и растолстел, как завмаг! Оказалось, это схохмили воронежские друзья, отправив на бланке Союза в газету черную весть. Как тут не отметить воскрешение?! Грех. По пути в гастронорм возник разговор о заурядной повести Владимира Федорова «Сумка, полная сердец», вдруг с помпой выдвинутой на Государственную премию. Павел ехидно всхохотнул и в своем духе выдал резюме:

Проспорив долго, наконец
Мы прекратили прения:
За «Сумку, полную сердец»
Хер в сумку, а не премию!

— Столь ценную резолюцию нужно срочно послать в комитет.

— Аг-га... Уже послал...

Только сели за стол — распахнулась дверь. Коля. Ведь его духа не было даже в округе. Но чуткий нос мигом привел сюда прямо из Вологды. Без промедления чокнулись. Павел махом осушил стакан и, закусывая, благодушно сказал:

— Ну, классик, утешь мою душу новым шедевром!

Трезво не надеясь на следующую бутылку и намереваясь продлить удовольствие, Коля медленно отпил всего глоток. Раньше он просто не обратил бы внимания на невинную подначку или тоже воспринял ее с улыбкой. Да нечто другое почудилось в этом бывшему весельчаку, способному слышать недоступное для других. Видно, слава уже наложила свою тяжкую печать. Не признав ироничную манеру общения, всегда свойственную Павлу, он рубанул:

— Думаешь, если налил мне, так уже купил с потрохами? Ни хрена не буду читать!

Павел хмыкнул в ехидном раздумье, всей пятерней поскреб затылок и, чтобы не оскорблять гордеца мизером подачи, ловко булькнул ее. Это взвилу Колю со стула, метнуло за дверь, избавив от хриплого смеха и мастерской вязи отменного мата. Впрочем, вполне добродушного, ибо Павел все заключил таким афоризмом:

Коль не пьян да не бит,
Разве это — пиит?..

Вечером я подсел на лавочку в сквере у подъезда. Тезка нахохленно смолил «Памир». На мое сетование, что зря так взбрыкнул, с досадой поморщился и вынул из кармана стопку денег.

— Вот, я могу сам утопить его в водяре. Но разве в этом суть?

— А в чем же?

— Вы даже не представляете, как я обрадовался встрече... Совершенно не представляете! Как братьев хотел вас обнять! Я же там одинок... Все улыбаются, льстиво словесят, а глаза, рожи... Будто прокаженный!

То ли действительно невыносимо тяжело жилось ему в родной Вологде, в которой все завидовали его славе, то ли уже одолевала треклятая мнительность, что не только жить и писать — дышать было нечем! Вот и приехал за командировкой пошляться там, где никому неведом. Получил ее в «Октябре».

Искренне сочувствуя бедолаге, я все-таки недоумевал, как же в содоме удавалось нормально жить и успешно писать Астафьеву, Белову, Фокиной, Коротяеву? Почему они не страдали от постылого одиночества, в принципе заветного для творческих людей? Сложно без бутылки разобраться в паутине противоречий, терзающих Колю. Думаю, все же больше мешала чрезмерная подозрительность и привычная безалаберность.

Впрочем, все назойливей отвлекала новая загадка: почему при таком богатстве он до сих пор совершенно трезв? Что за сверхзадача удерживала от встречи с ближайшим таксистом, вынуждая проявлять недюжинную силу воли? При столь героическом характере тезка мог шутя одолеть все тернии местного бытия, став не только звездой родных полей, а поэтической звездой первой величины!

Чудо продолжалось аж трое суток, в завершение которых стоик принес пару бутылок «Столичной», всякой закуски. Он был в новых штанах со стрелками, в новой белой рубашке с закатанными рукавами. Чисто выбрит, подстрижен и еще благоухал тройным одеколоном. Даже обычно пыльные полуботинки сверкали по-флотски. Что бы значило сие преобразование? Поскольку общежитие наполняли уже малознакомые за-

очники, прибывшие на весеннюю сессию или экзамены, лишь я по старому знакомству удостоился чести выслушать за столом фантастическую исповедь.

Оказалось, кто-то из именитых земляков (подозреваю, что Ф.Ф. Кузнецов или В.В. Дементьев) решил осласчастливить горемыку, познаколив с поклонницей, отец которой занимал четырехкомнатную квартиру на улице Горького. После краткой встречи они посетили Большой театр. Коля впервые прильнул к высокому искусству, намереваясь послушать чарующую музыку и дивное пение артистов. Однако Дюймовочку мало интересовала уже знакомая опера, а больше — присутствие известного поэта. Она непринужденно щебетала о стихах потенциального жениха, в антракте щедро потчевала различными пирожными, запивая их малиновой газировкой. От непривычной сладости Колю мутило. С великим трудом одолел пару пирожных и залил страдания приторной шипучкой. С удовольствием уплетая остальные, Дюймовочка одновременно называла всех знаменитостей, которые присутствовали рядом или проходили мимо. Такое множество конкурентов обескуражило, заставив почувствовать себя мухой на крошке сладости. Ему невыносимо хотелось затянуться спасительной горечью «Памира» или припустить наутек. Еле-еле выдержал эту пытку, вскоре сменившуюся на другую: страстная Дюймовочка продолжала шептать в ухо, как обожает его волшебную поэзию, впрямь далекую от давящего великолепия зала, наполненного чуждой публикой в роскошных платьях, в шикарных костюмах и фраках. Все происходящее на сцене тоже вдруг показалось Коле фальшивым, помпезным. Так скромный певец тихой родины с гнилыми избушками, безлюдными полями и безбрежьем лесов, где любил собирать обожаемые рыжики, внезапно познал новый вид страданий, совершенно несравнимых с вологодскими.

Тем временем пытки продолжались даже в застолье гостиней, где будущая родня учинила натуральный допрос, настырно выясняя, много ли зарабатывает стихами, сколько сочиняет их в день, почему при такой славе не имеет квартиры? Впрочем, родители слишком любили единственную дочурку, чтобы отпустить в какую-то Вологду. Ради счастья Дюймовочки они были готовы терпеть незавидного зятя, оставить им квартиру, гарантируя полное содержание до тех заветных пор, когда Коля станет лауреатом. Лишь попросили за подобную жертвенность утешить их новыми стихами. От внезапной благодати у него из головы начисто вылетели даже старые. Суженая мужественно бросилась на выручку, доказав хорошее знание лучших стихов. При этом даже не заглянула в «Звезду полей».

— Да тебе за все минувшее и праведные труды судьба послала золотую рыбку. Теперь лишь успевай катать вирши по дюжине в день. О лауреатстве при таком тесте тоже можешь не беспокоиться — получишь в самый кратчайший срок! — искренне пожелал я тезке удачи.

— Да ты что? Как можно жить с людьми, которым совершенно невдомек, что иной раз ни строки не выдашь целую неделю, а коль слепишь, то на другую к черту выкинешь! И снова тычешься мордой вслепую, подхлестывая интуицию бутылкой! Ведь ты должен знать элементарную истину: о чем писать — не наша воля, мы у поэзии в подручных!

— Согласен. Однако взгляни на другую сторону медали. Ради дочери они готовы на все. Следовательно, чисто по-житейски хорошие люди. Ради поэзии Дюймовочка тоже готова продемонстрировать свои кулинарные способности и стирать твои носки. Разве этого мало для нормального семейного счастья? Хотя оно тоже во многом зависит от наших усилий взрастить столь нежный цветок. Вспомни, как своей заботой помогали

жены того же Достоевского или Толстых. Судя по всему, Дюймовочка петрит в поэзии. Разве этого мало для семейного благополучия? И станете вместе пестовать чудесное древо, коему еще расти да расти до высоты Пушкина. О-о, слушай-ка его признание:

Блажен, кто понял голос строгий
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой, —
Кто цель имел и к ней стремился...

Но заскорузлый холостяк, привыкший к вольготной жизни без всяких семейных обязанностей, не сумел почувствовать ответственность момента. Привыкший почитать лишь собственные интересы и прихоти, он отверг мусор предлагаемых благ, плюнул на билеты в Кремлевский дворец и на остаток октябрьских командировочных вовсю загудел. Чтобы не попасть на глаза комендантше Акимовне или самому Циклопу, готовых за ухо выкинуть «зайца» на улицу, Коля выбирался из моей комнаты лишь в туалет. А я терпеливо ходил в соседний магазин за провизией, потчужа тезку борщами, пельменями, пакетными супами, которых он давненько не ел и вовсю уплетал. Привыкший в лучшем случае закусывать чем попало, Коля в благодарность за это угощал меня знакомыми и новыми стихами. Притом не просто читал их, а напевно выводил каждую строчку, выражая ее музыкальность. Плавные или резкие движения тонких рук подчеркивали течение слов, которые точно струились меж пальцев, наполняясь дополнительным смыслом, неведомым прежде. Какой непривычно щемящей нежностью, солнечным лиризмом веяло от стихов, кажется чуждых опухшему, заросшему щетиной бирюку. Даже знакомая горечь, пропитанная сарказмом, теперь отсвечивала мягкой иронией благодушия, весьма стран-

ного для человека в разобранном состоянии. Но самым неожиданным стало композиционное расположение стихов, прежде возникших в зависимости от настроения или озарения. И это совершенно иначе освещало взращенное им древо поэзии, благодатная магия которой заставила меня выпалить:

— Когда ж ты намерен сие воплотить?

— Обязательно это сделаю, только не перебивай!

Коля зубами с хрустом сорвал с очередной бутылки алюминиевую «бескозырку», хватил пару больших глотков и, склонив голову набок и закрыв смородистые глаза, вновь неспешно, как свиток, раскручивал тайную летопись души. Однако страстная исповедь воскресшего Баяна после следующей дозы внезапно превратилась в истерическую околесицу с требованием найти гитару, которая могла более точно выразить нахлынувшие чувства, ибо каждый звук полон особенного смысла. Но звон праздных струн не оглашал коридоры. Все студенты были заняты экзаменами. Распаляясь, Коля крыл меня за лень. Вспышки ярости позволяли узнать подробности безотрадной маеты с Гетой или что-то новое о Дюймовочке. Порой тезка путал их, доказывая мне, как обе давно опостытели. Разнообразило перемену помрачения в общем естественное желание спуститься в душ, не то скоро сожрут вши. Доказывая это, Коля яростно чесался. Похоже, напрасно я для экономии ограничивался последними сорока каплями. Пил бы на равных, так он, глядишь, не докатился бы до такого состояния. Пришлось напомнить о комендантше:

— Айда в душ. Акимовна тебе спинку потрет, шею от души намылит!

Как ни странно, это мигом охладило его пыл, заставив совершенно другим тоном сказать:

— Послушай-ка интересную задумку...

Оказалось, постоянный дефицит любой бумаги и даже карандашного огрызка приучил Колю сочинять и хранить в памяти все стихи. После затяжной выпивки она, естественно, забарахлила. С трудом вспомнив нужные строки о проклятом бездорожье к Николе, почти завыл их... Зло оборвал и принялся размышлять о неуловимых, непостижимых тайнах поэзии, в которые все-таки мечтал проникнуть, чтобы не биться вслепую. А я млею от чудесного возрождения... Конечно, в подходящий момент продолжая гнуть свое:

— Кому из наших классиков благополучие мешало писать? Для них это благо позволяло полностью сосредоточиться на творчестве. У тебя тоже возник счастливый шанс не думать о хлебе насущном.

— Да мне чужой кусок в горло не лезет. Особенно когда с двух сторон предлагают покушать красную рыбку, маслины и прочие деликатесы...

— Это впрямь ужасно противно видеть, как перед тобой сразу две дамы ходят на цирлах... Как же ты там ужинал и завтракал? Восхищаюсь твоим героизмом. Да, явно не зря ты еще мальцом для испытания духа самой темной ночью пересек деревенское кладбище... Явно не зря! Неужто зелье тоже застревало?

— А-а, наливали какое-то белое пойло... Совсем нечувствительное. Но дело даже не в этом. Пойми: невыносимо противно, когда на тебя пялятся, как на диковину, совершенно не понимая, за что тебе такая честь и слава?

— Так вызови на турнир всю троицу и прямо в Политехническом или на стадионе докажи всем, насколько несъедобны треугольные груши и прочая дребедень. Тогда высокая родня уже законно будет чтить тебя!

Коля аж всхрикнул от невыносимой ереси и поперхнулся дымом. Пока откашливался, вытирая слезы, я настырно продолжал свое:

— Вдобавок ты совершенно забыл, что родня согласна оставить вас наедине. А Дюймовочка, сам говорил, наделена отменным вкусом, чувством слова и по-девчачьи влюблена в тебя. Короче, способна создать все условия для успешного творчества. Сам знаешь, как соревновательная атмосфера института и вообще столицы помогла тебе резко возмужать. Благодаря Дюймовочке, более широкий круг и уровень интеллектуального общения откроют перед тобой дополнительные горизонты, позволив осмыслить и конкретизировать хотя бы фантастическую строку «Посреди явлений без названья». И тогда грохочущий поезд на всех парах помчит тебя к Парнасу!

— Нет, сперва пусть в Париж, на Монмартр, где до сих пор томится в ожидании самая красивая девушка, — соблазнительным тоном Любви Васильевны протянул Коля, допив бутылку, и, смачно похрустывая маринованным огурчиком, решительно заключил: — Зря стараешься. С Дюймовочкой все кончено.

— Она что, косоглазая, горбатая? Словом, чем тебе не по нраву?

— Да не-е... Стройная былиночка... Даже симпатичная... А какую роскошную библиотеку имеет... Все поэты есть! О некоторых я и понятия не имел...

— Э-э, да тут не просто совпадение... Чем же она занимается?

— С красным дипломом кончила МГУ. Сейчас корпееет над диссертацией о Ключеве. А уж докторскую посвятит самому Есенину. Это какую же смелость надо иметь... Непостижимо!.. Потому я не прочь взять ее волнительные формы на содержание. Только вот где оно?

— Да ведь предлагают же даром. Лишь бери!

— Видишь ли, есть такие сокровенные понятия, как гордость, самолюбие, честолюбие. Зачем унижать их подачками? Какая в этом нужда?

— Зело щепетильный вопрос... Но разве у тебя за душой ни шиша? Если напечатать хотя бы то, что выплеснул мне, получится совсем наоборот. Посему я считаю приданое Дюймовочки простым авансом за грядущую книгу.

— Вот когда она выйдет...

О такой жене можно только грезить. А он еще ерничал, выпендриваясь, как муха над вареньем. Хотя совсем недавно торчал на лавочке в сквере около общежития. Весь какой-то надраенный был, довольный то ли свершившейся удачей, то ли предвкушением близкого счастья. Не выдержав, я поинтересовался:

— Ты так сияешь... С чего бы?

— А во, имею целый руль! — гордо похвалился он, так форсисто запулив кругляш целкового, что от скорости вращения тот превратился в елочный шарик. Столь же ловко поймав его, Коля улыбнулся.

— И на что с ним готов? Строить?

— Ну не-е-е... Бабу кадрю!

— А дальше? Махнешь с куклой в ресторан?

— Хм, в кино ее приглашу, мороженым угощу!

Он мечтательно задурил сигарету, заранее согласный на любое уличное знакомство, к которому подстрекал осенний вечер. А теперь косоротился от культурной, образованной Дюймовочки, уже обожающей суженого. Нелогично и даже глупо. Я продолжал наступать:

— Не блажи. Какого рожна тебе еще надо? Пошли, я все улажу. И не спрашиваю, кто пытался тебя осчастливить. А ты в знак благодарности подвел человека под монастырь. Как теперь будешь смотреть ему в глаза?

Конечно, я рассуждал как заземленный прозаик, но разве при этом не стремился к благой цели: облегчить поэту бремя житейской прозы? И Коля все меньше упрямылся. Еще бы несколько поллитровок «сучка», и мы

смогли триумфально перейти на шампанское. Но подступило очередное помрачение, жалкое по своей убогости. Горячечный бред подталкивал вызвать скорую. Сдерживало меня опасение, что вместо больницы тетка угодит в психушку или ЛТП. Когда от аванса остался всего трояк, я вручил его Коле. Он тщательно побрился, надраил моей щеткой зубы и шустрой мышкой выскользнул из общежития стрельнуть новую командировку.

За эту буйную неделю я, не склонный к лишним сантиментам, влюбился в Творца и возненавидел его как заурядного смертного, уже неспособного избавиться от грязной шкуры обыденщины. Грустно сейчас вспоминать все это, досадно. Что такое слава? Просто звук, эфемерность, фимиам... Да еще ладно бы Коля хлебнул ее на полных стадионах, во дворцах или в верховных сферах. Тогда бы хоть было оправдано головокружение. А то ведь в сельской глуши, где обитал в основном, слава лишь чуть коснулась его крылом. Но все равно оказалась тяжелой для худых мальчишеских плеч.

Видимо, чтобы избавиться от гнета, Коля невольно стремился попасть в спасительную невесомость. А там властвуют свои законы, которые живо превратили его в бомжа, своим поведением и видом порочащего высокое звание поэта и тем самым — всей писательской организации Вологды. Итогом самосохранения стало беспрецедентное совещание в обкоме партии с участием Астафьева и Белова. После мучительных поисков спасательного круга для тонущего матроса решили прервать его вольготную жизнь в окружении липких бомжей направлением в ЛТП.

Безусловно, это был крайний выход. Но если человек уже не смог ради любимой дочери договориться с женой о будущем, не мог совладать с собой, чтобы избавиться от рыжей бестии, о чем сие говорит? Иссяк,

нуждаясь в срочном лечении. Следовательно, ЛТП был спасением, позволив обогатиться новыми впечатлениями, расширив творческий диапазон. Ведь настоящий поэт, как гласит история, все равно способен писать в любой обстановке.

Но это унижение, оскорбление, общественное распятие фатально совпало с ребяческим стремлением залезть на самое высокое дерево, доказав себе и другим, что еще способен совершить подвиг, обаяв златокудрую Людмилу, которая своими габаритами пленила нового Руслана. Со стороны они выглядели Патом и Паташом. Некоторые друзья пытались втемяшить ему нелепость сочетания внешнего комизма с полярностью творческих полюсов, ибо над ягненком возвышалась окаянная волчица. Увы, рок уже переплелся с очередным помрачением. И стряслось вешнее:

Я умру в крещенские морозы.

ХII

Две наши последние встречи весьма необычны потому, что произошли во сне. Я жил уже на другом краю Москвы — довольно далеко от улицы Добролюбова. Вдруг распахнулась дверь комнаты. И появился Коля, хмуро буркнув:

— Ты что распускаешь слухи, будто я помер? А это кто перед тобой? Уже не узнаешь?

Я оторопел, пораженный как появлением нежданного гостя, так и его обвинением. Ведь после смерти минуло около трех лет. Но ничего возразить не успел: видение исчезло.

Вновь мы встретились тоже года через три. На сей раз во дворе Литературного института. На белом фоне первого снега Коля шел от ворот. Он был в прежнем сером

пальтишке, с черным шарфом на шее, без привычной шляпы. Я стал озираться, чтобы найти свидетеля такого события — иначе в него снова никто не поверит. Заметив на волейбольной площадке Эдика Крылова, обрадованно крикнул:

— Жми скорее сюда!

Между тем Коля уже поравнялся со мной, приветственно кивнув на ходу. Пытаясь его придержать, я сказал:

— Погоди, вон Эдик бежит.

— Шас я вернусь. Получу диплом и вернусь. Ждут, — озабоченно бросил Коля, направляясь к двери института, из которого так и не вышел.

Вот как довелось нам повстречаться напоследок. Что это за причуды памяти? Что за реинкарнация? Не берусь гадать. Лишь добавлю: наяву никогда ничего похожего не было.

ХІІІ

По разным причинам я прежде не читал воспоминаний о Николае Рубцове, довольствуясь различными слухами. Лишь недавно специально посмотрел три публикации, которые удивили обилием клюквы. Уж очень своеобразной оказалась трактовка общеизвестных фактов, теперь подтвержденных документально.

Казалось бы, все предельно ясно даже ежу. Рядом с институтом существовала хорошая шашлычная «Эльбрус», где все стоило наполовину дешевле и не грозило никакими последствиями, кроме похмельных. Но Николая Рубцова прямо с первого курса неодолимо тянуло в ЦДЛ, чтобы почувствовать себя равным с другими членами Союза писателей. Пожалуйста, для вдохновения и честолюбия упивайся бесплатным фимиамом.

Только зачем же при этом ломать казенные стулья в элитном клубе, куда посторонние не допускались. Мало ли кто жаждал похвастаться в своей компании, что сидел рядом с Вознесенским или чокнулся с самим Евтушенко! Поэтому администрация, обязанная охранять покой своих именитых посетителей, реагировала соответственно. Впрочем, даже корректно, ибо не призывала на помощь милицию.

Зрелый возраст авторов публикаций тоже должен бы оценить минувшее время уже объективно. Нет, служащие ЦДЛ вместе с руководством Литературного института вдруг превратились в гонителей-притеснителей Рубцова за бессердечие и административный садизм. Их обвинили даже в мистической ненависти к талантливому поэту, якобы неприемлемому для всех лакеев и холоуев проклятой бюрократической системы!

Помилуйте, зачем Коля поступил в институт? Набираться у лучшей столичной профессуры ума и знаний, преобразующих ум. Так дополнительно совершенствуй свое мастерство в творческом семинаре Н.Н. Сидоренко, равном которому тогда не существовало. Но прежнее бурсачество мешало вместе со всеми слушать интереснейшие лекции, подстрекало к постоянным стычкам и скандалам в том же ЦДЛ, где прославился еще до громких журнальных публикаций. Получалось, лишь нам, неотесанным лапотникам, следовало терпеливо набираться элементарной культуры, знаний. А он уже все постиг! Увы, Коля был единственным на курсе злостным прогульщиком, жертвуя ради этого даже стипендией. Словом, больше всех сделал для прощания с институтом и дальнейшего прозябания в безнадее.

Утверждаю так потому, что тогда был председателем студкома. На столь ответственный пост меня избрали явно по следующим соображениям: являлся

почти саженным детиной, на стройке занимался штангой, боксом, крестился двухпудовкой. Вдобавок минимум на пять лет был старше губошлепов, которые любили побузить. Именно возрастная снисходительность позволяла мне оставлять салаг в счастливом неведении, что за свои «подвиги» мигом элементарно вылетят из общежития. Даже ныне такое наказание считается законным. А тут задрипаный студент самому ректору Пименову дерзко подтвердил авторство своего перла:

Быть может, я для вас в гробу мерцаю,
Но должен я сказать в конце концов:
Я — Николай Михайлович Рубцов —
Возможность трезвой жизни отрицаю!

И суровый Владимир Федорович лишь печально вздохнул:

— Но это же — мальчишество. Идите...

Какой ректор столичного вуза в те свирепые тоталитарные времена мог позволить себе подобный либерализм? То-то... Пименов имел право своей властью избавиться от докучливого студента, но именно демократически предложил решить его судьбу на ученом совете. Коля с рыданиями умолял оставить его в институте, так как погибнет в своей тьмутаракани.

Я поневоле участвовал в разборе всех рубцовских свар, затем впустую тратя дефицитное время на душе-спасительные беседы с недотепой, который страстно клялся больше не прогуливать лекции, не скандалить в ЦДЛ. Ведь от него больше совершенно ничего не требовалось. Однако все неизменно повторялось. Ну до чего же сложная натура... Явно поэтому к нему пристали все нечистые силы, которые настырно мешали в жизни. Если под ними авторы публикаций подразумевают ныне треклятую советскую власть, что ж, рассмотрим конкретные примеры ее козней.

Лето 1964 года. Ярые антагонисты «Юность», «Молодая гвардия» и «Октябрь» напечатали первые подборки Н. Рубцова. Затем «Юность» и «Октябрь» повторили публикации.

Даже именитые члены Союза писателей годами терпеливо ждали в очереди выход своих книг в издательстве «Советский писатель». Н. Рубцов еще не являлся членом Союза. Но при содействии Н.Н. Сидоренко и Е.А. Исаева «Звезда полей» в мае 1967 года, то есть всего за пару лет, вышла к читателям. В том же году сама «Правда» в обширной статье высоко оценила книгу, потом напечатав новые стихи Н. Рубцова.

В октябре 1968 года «Советский писатель» заключил с ним договор на следующий сборник «Сосен шум», вышедший уже в декабре 1970 года.

1971 г. «Зеленые цветы», «Советская Россия».

1973 г. «Последний пароход», «Современник».

1974 г. Избранная лирика, Архангельск.

1976 г. «Подорожники», «Молодая гвардия».

Вдобавок — статьи В. Кожинова, М. Оботурова, Ю. Селезнева, посвященные творчеству Н. Рубцова. Так при советской власти орудовала нечистая сила в Москве.

Теперь для сравнения проведем Вологду. В сентябре 1965 года заочник Н. Рубцов получил от местного Союза писателей длительную оплачиваемую командировку в родную Николу, где его вскоре навестил первый секретарь обкома В.И. Другов. Неслыханная честь для беспартийного поэта! Столь же равноценным было организованное тем же обкомом приглашение в агитационную поездку по Вологодчине. Потом беспаспортному бродяге выделили место в общежитии совпартшколы. Поскольку оно Рубцову не понравилось, нашли место в гостинице-общежитии. Снова не то. Дали отдельную комнату в квартире, где жил с семьей работник обкома. Наконец выделили отдельную квартиру. И фи-

нал подозрительной опеки поэта — совещание в обкоме, как спасти его. Очень странно вела себя местная нечистая сила, не правда ли? А может, все это было проделано специально для отвода глаз, чтобы руками Дербиной осуществить свой коварный замысел? Ответ понятен даже новорожденному ежику.

XIV

Эх, знать бы грядущее!.. Я бы тогда специально стал самым закадычным Колиным другом или хотя бы относился к нему с должным вниманием, почаще предлагал вместе пообедать и таким способом незаметно выпытал у него значительно больше интересного — в том числе чисто творческого, чтобы теперь существенно облегчить судьбу критиков и литературоведов. Обязательно записал бы каждый каламбур, сочинять которые он был мастак. Но прежде всего, полностью сознавая всю щекотливость ситуации, — все-таки постарался удержать Колю от разрыва с Дюймовочкой. Однако, даже признавая талант, как мы обычно относимся к самому человеку?.. Вот и приходится с запоздалым сожалением вспоминать случайные эпизоды, способные хоть немного осветить реальный облик поэта, который за время нашего знакомства был всяким, но меньше всего — лубочным христосиком.

Вдали от городских огней летними вечерами появляются всполохи зарниц, всего на миг озаряющих тьму. За минувшее время столько одаренных поэтов оказалось лишь зарницами, не успев превратиться в полноценные звезды. Эту фатальную традицию отчасти повезло нарушить Николаю Рубцову, о котором без лишних слов можно добавить, что остался рубцом на высоком челе отечественной поэзии.

XV

Год за годом все дальше зияние черной даты. По-блекли, исчезли былые кумиры. А вроде бы тихая рубцовская лира звучит все слышнее. Союз писателей России уже несколько лет награждает выдающихся собратьев премией имени Николая Рубцова «Звезда полей». На прилавках магазинов нет его книг, выходящих в завидном изобилии. По радио и телевидению довольно часто звучат давно знакомые, но по-прежнему волнующие песни на его стихи. Во многих городах возникли клубы почитателей его задушевной поэзии.

Недавно ко всему этому прибавилось еще отрадное событие: в детско-юношеской библиотеке Москвы рядом с метро «Академическая» открылся первый в России культурный центр имени Николая Рубцова. В просторной комнате-музее, многолетними стараниями неутомимой М.А. Полетовой, собраны все реликвии. Торжественное открытие прекрасного центра с лазоревыми стенами было таким домашним, уютным, что у меня сами возникли сокровенные строки:

Воскрес поэт, увидев это диво,
И от смущенья замер горделиво.
Еще бы, заслужил в конце концов
Такой приют бродяга Н. Рубцов!

И полный зал охотно согласился с этим утверждением.

XVI

К юбилею Николая крупное издательство выпустило солидную книгу Рубцова «Я люблю, когда шумят березы». Казалось бы, и самую полную. Но там почему-то нет вот этих лучистых стихов:

Ночь коротка. А жизнь, как ночь, длинна.
Не сплю я. Что же может мне присниться?
По половицам бродит тишина.
Ах, чтобы ей сквозь землю провалиться!
Встаю, в ботинки долго метясь.
Открою двери, выйду из сеней...
Ах, если б в эту ночь родился месяц —
Вдвоем бы в мире стало веселей!
Прислушиваюсь... Спит село сторожоко.
В реке мурлычет кошкою вода.
Куда меня ведет, не знаю, стежка,
Которая и в эту ночь видна.
Уж лучше пусть поет петух, чем птица.
Она ведь плачет — всякий примечал.
Я сам — природы мелкая частица.
Но до чего же крупная печаль!
Как страшно быть на свете одиноким...
Иду назад, минуя темный сад.
И мгла толпится до утра у окон.
И глухо рядом листья шелестят.
Как хорошо, что я встаю с зарею!
Какое счастье о себе забыть!
Цветы ложатся тихо под косою,
Чтоб новой жизнью на земле зажить.
И думаю я — смейтесь иль не смейтесь, —
Косьбой проворной на лугу согрет,
Что той, которой мы боимся, — смерти,
Как у цветов, у нас ведь тоже нет!
А свежий ветер веет над плечами.
И я опять страдаю и люблю.
И все мои хорошие печали
В росе с косою вместе утоплю.

(Стихотворение публикуется впервые).

* * *

Прекрасно пробуждение земли!
Как будто в реку — окунуть в природу...
И что я вижу: золото зари
Упало на серебряную воду.
Густая тьма еще живет в дубравах.
Ты по дороге тихо побредешь...
Роса переливается на травах,
Да так, что даже слов не подберешь!
А вот — цветы. Милы ромашки, лютик.
Как хорошо! Никто здесь не косил.

В такое утро все красивы люди.
Я сам, наверно, до чего красив...
Тень от меня по полю длинно.
Так вот она, вся прелесть бытия:
Со мною рядом синяя долина,
Как будто чаша, полная питья!
Все в мире в этот час свежо и мудро.
Слагается в душе негромкий стих.
Не верю я, что кто-то в это утро
Иное держит в помыслах своих.
Бросаю радость полными горстями.
Любому низко кланяюсь кусту.
Выходят в поле чистое крестьяне
Трудом украсить эту красоту.

(Стихотворение публикуется впервые).

Надеюсь, будущие редакторы или составители, к радости читателей, заметят столь существенное дополнение, в котором отразились новые грани рубцовского характера и таланта.

XVII

Нынешней весной мои жена и сын шли от «Академической» по скверу на улицу Вавилова. Напротив Дарвиновского музея на ближней ветке вдруг разоралась ворона, будто укоряя, что не замечают настоящего чуда. Артем удивленно взглянул на крикунью и увидел косяк журавлей, пролетающих точно над массивным зданием, на первом этаже которого находится культурный центр имени Рубцова. Наверное, журки даже радостно прокурлыкали своему певцу о возвращении домой. Но солидная высота и гул транспорта не позволили расслышать это. Сын с женой действительно впервые видели такое диво и восхищенно провожали взглядами косяк, пока не скрылся в солнечной дали утреннего неба. Затем оглянулись на вещунью. Та бесшумно исчезла. Ну, натуральная мистика...

В честь грядущего юбилея эту рукопись я хотел выпустить вместе с томом стихов, естественно дополняющих друг друга. Однако в паре солидных издательств отклонили сомнительную затею. Третье, поменьше, без лишних слов согласилось напечатать книгу в любом виде. Только — за мой счет. Но откуда подобная роскошь у персонального пенсионера микрорайонного значения? Ситуация обязывала рискнуть на кредит. Благо его предлагали с каждой страницы любой газеты. Увы, при условии, что еще — молод.

Если же тебе уже семьдесят, ничего не выгорит даже под залог своей могилы на приличном кладбище. Поэтому я — обязан был жить, пока не издам по-своему превосходную книгу воспоминаний о покойном классике отечественной литературы. Кстати, нашем последнем классике, звезда с фамилией коего озаряет космическую тьму.

И вот я, уже седой член Союза писателей, ходил с протянутой рукой по миллионерам, щедро окрашивающим своей зеленью все теплые моря света. Для стимула аж вдохновлял их клятвой вписать в историю отечественной литературы при помощи этого перла на титуле:

Каждое время искусно чеканит лики героев,
 Дабы украсить их барельефами свой пантеон.
 Пусть же читатели верно оценят заслугу
 Вячеслава Мефодьевича Бондаренко,
 С помощью коего издана сокровенная книга!

Возможна ли еще большая благодарность за мизер, для них равный всего пачке сигарет?! Исключено. Тем не менее шоколадные нувориши в лучшем случае лишь снисходительно фыркали...

Тупик и куцей остаток жизни постоянно изводили меня, припекая. Ведь если сам не успею выпустить

книгу, этого уже не сделает никто. И пропадут бесценные воспоминания о поэте, разнообразный характер которого лишь отчасти выразился в неповторимом творчестве.

Каким обильным дополнением к стихам являлись искренние рассказы друзей, знакомых с Колей в студенческие и последующие годы, когда он буквально вынырнул из Леты, сотворив настоящее диво, — встал рядом с Тютчевым, Фетом, Есениным! Попробуйте это сделать в окружении благополучно здравствующих классиков с лауреатскими медалями или признанных мэтров... А он все равно умудрился вовсю прозвучать своей полифонической лирой! Даже иронизировал, что наконец-то великодушная Фортуна познакомила плешивого холостяка с капризной Славой...

Так вот, угроза невозможной утраты заставляла меня бить челом перед спесивыми нуворишами, изощряясь в их оболъщении. Мстительная злость воткнуть им в зад перо и подтолкнула меня в ближайший секс-шоп. Изобилие почти натуральных способов наслаждения — ослепило, а трехцветные слоновьи фаллосы бивнями пригвоздили к полу. Когда наконец оклемался, то возможно небрежнее сказал терпеливому продавцу:

— Пожалуйста, заверните мне самую сексуальную красотку с бронзовым отливом. Желательно — девственницу.

Скучающий от безлюдья, он поперхнулся. Затем привел себя в чувство льдистой газировкой. Другой фужер заботливо поднес мне и вежливо спросил:

— Дорогой дедуля, может, ограничитесь чем-то попроще и, соответственно, подешевле?

Искреннее сочувствие подействовало безотказно. Я сбивчиво исповедался, намекнув о спонсорской помощи.

— Ну что вы, милый дедуля, о каком спонсорстве речь, если вы сегодня — первый посетитель? В такое жаркое время все нормальные люди предпочитают наслаждаться в более благоприятной обстановке и в естественных формах. Посему — горим без огня. Вот если б вы сочинили для нас убойную рекламу...

— Вроде такой: ох и времечко летит, ускоряя простатит!

— Во-во... Тогда шеф наверняка заплатит вам нужную сумму.

— Точно?

— А сейчас узнаем.

По сотовому телефону я живописно изложил хозяину суть проблемы. Это заинтриговало его. Аж согласился рискнуть на кредит. Лишь бы тоже из принципа воткнуть сразу всем скрягам самое толстое и острое перо!

Давненько я так не насиловал свое вдохновение, для стимула подогреваясь винцом. Сам поражался лихости, с какой унылые инструкции по правильной эксплуатации имитаторов превращались в сплошные бурлески, раешники, способные расшевелить любого импотента или сосульку. Целую охапку лавров получил от хохочущего до слез продавца, который восхищенно вознес меня выше самого Баркова! Осталось лишь утешить самого шефа. Для верности тот записал все перлы на магнитофон. Еще раз внимательно прослушал и неожиданно заявил:

— Ваши пошлые вирши прямолинейны, грубы, вульгарны! Они способны только шокировать наших клиентов, а нас — окончательно разорить!

Гм, кто мог подумать, что шеф столичного вертепа окажется таким рафинированным пуританином и столь тонким ценителем высокой поэзии... Ошарашенный продавец ухватился за последнюю соломинку, предложив:

— Может, звякнуть еще жене? Хоть махнушка — не бог, но иной раз все-таки выручает.

Я благодарно посмотрел на мудрого спасителя и махнул рукой. Ведь иногда сам творческий акт значительно дороже любых денег. Но благодетель оказался еще выше пошлой меркантильности, на прощание почтительно одарив меня самой сексуальной красоткой с бронзовым отливом.

Все же как приятно в наше паскудное время встретить порядочного человека и настоящего ценителя поэзии Николая Рубцова!

Анатолий Жуков

СОЛОВЕЙ В ТЕРНОВНИКЕ

Нет, это был не просто весенний предвечерний лес, где ликовали горлинки, соловьи, кукушки, дрозды, зяблики и праздничный сонм других птиц. Нет, это был международный фестиваль молодежи. Вернее — всемирное собрание юности, где званые и избранные пели каждый на своем языке и радовались оттого, что понимали друг друга.

В разгульном птичьем разноязычье невольно выделялся звонкой чистотой и нежностью невидимый соловей. Где-то совсем рядом, кажется, в терновнике. То озорно рассыплется дробной частушечной трелью, то примется восхищенно и часто причмокивать, то перейдет к длинным поцелуям — сочные, протяжно-звонкие, то — веселые, то — нежные, они завораживали меня. И, очарованный этими любовными звуками, я принялся искать певца и не нашел. Ощупывая взглядом каждый кустик, я осторожно подошел к терновнику на скате лесного оврага, но не увидел ничего, кроме небольшой серой птички, пугливо перелетевшей в кусты бузины.

Я присел на пенек и стал терпеливо ждать. Колючий терновник молчал. Дважды подавала голос кукушка. Я спросил, сколько лет осталось мне жить. Она прокуковала девять раз и улетела. Поскупилась, однако. Простучал на сухой осине дятел — нарядный, энергичный.

И вот наконец раздался знакомый нежный голос. Не рядом, в терновнике, а чуть подалее — в кустах бузины, куда перелетела серенькая птичка. Неужто это и был соловей?

Я продолжал ожидать, наблюдая. Невидимый певец щелкал хоть и красиво, но редко, настороженно, и в его нежном причмокивании слышался то вопрос, то недоумение, то порицание. Он будто укорял меня, пеняя на бесцеремонное любопытство и на то, что я вторгся на его территорию. Я отступил на десяток шагов и, прислонясь к стволу березы, в ожидании замер. Так прошло минут пять. А может, и больше, потому что я уже устал от пристального внимания и безуспешной попытки разглядеть певца. И когда я, потеряв терпение, уже шагнул к бузине, оттуда вдруг выпорхнула знакомая серая птичка и вновь опустилась в куст терновника. Гнездо ее там, что ли? В таких-то коллочках!..

По вздрогнувшей ветке я заметил, куда опустилась птичка, и, затаив дыхание, стал ждать, вглядываясь. И был вознагражден. Минуту-другую спустя послышалось пробное щелканье, потом рассыпалась звонкая частая трель, веселая и уверенная. И уж за ней — длинная, почти слитная, восторженная песня. На весь лес, на всю зеленую весеннюю землю! Потому что других звуков я уже не слышал, а только его — соловьиные. Я видел его самого на кривой ветке терновника и, очарованный, покоренный, верил и не верил, что эта серенькая, невзрачная птичка может так петь. А пела именно она, серенькая, невзрачная эта пичуга: я видел ее крохотную откинутую головку, маленький, заметно раздутый зобик, тонкие черточки раскрытого клюва, которые почти не двигались. И песня лилась из горла свободно и легко, без всякого напряжения. Удивительно! И как-то странно знакомо-знакомо...

Впервые я увидел Николая Рубцова в коридоре Литературного института. Свел нас Валентин Сафонов, мой однокурсник, прозаик из Рязани. Он сказал:

— Вот, люби и жалуй — флотский мой кореш, поэт, надежный парень.

Тот подал руку, небольшую, крепкую. Назвал свое имя и, затянувшись папиросным дымом, закашлялся. Успокоясь, бросил окурочек в урну и стал зябко кутать худую шею серым шерстяным шарфом. Я не то чтобы усомнился в его надежности, но как-то не воспринял серьезно. Паренек невысокий, худощавый и, несмотря на молодость — лет двадцати пяти, не больше, но — уже лысый. Рядом с крупным, чубатым Сафоновым — подросток, а не моряк. Тем более — надежный. И смотрит рассеянно, улыбка блуждающая, безадресная, будто — случайная. Мягкая такая, легкая. А то, что Валентин назвал его поэтом, так у нас это указывает лишь на профиль творческого семинара, не больше. В Литинституте все студенты — либо поэты, либо прозаики, драматурги, критики, переводчики. Просто студентов нет.

Позже я увидел флотскую карточку, где они опять рядом. Валентин — такой же большой, прочный, а Николай — вроде нездешний, будто нарисованный красивый матросик. Короткая безупречная прическа, высокий гладкий лоб, тонкие лермонтовские усики, полосатая тельняшка в треугольном вырезе форменки. Но это — он, дальномерщик эсминца, старшина второй статьи Николай Рубцов.

Учился он курсом младше, но встречались мы часто, почти ежедневно — ездили из общаги на лекции по третьему троллейбусному и восемнадцатому автобусному маршрутам, курили в коридоре института или в скверике Дома Герцена, обедали в институтском буфете, улыбочиво прозванном «Былое и думы».

Николай не стремился выделиться среди студентов и ничем особо не отличался. Только при близком и заинтересованном рассмотрении можно было заметить его «лица не общее выражение», рассеянный и порой обращенный вовнутрь (будто прислушивался) взгляд, блуждающую улыбку, предназначенную всем вообще и никому в отдельности. Нельзя было не запомнить также его длинный серый шарф, которым он часто кутал худую шею — певческое свое горло, берег его, словно предчувствовал, что именно на нем сомкнутся холодные руки до смерти любящей женщины... И еще заметна была мягкая ирония и самоирония в разговорах, шутках, стихах. Запомнились почему-то простенькие бытовые картинки, непритязательные, доверчивые, как наша жизнь того далекого времени...

Вот едем утренним троллейбусом на лекции в институт. Один из наших студентов флиртует с молоденькой москвичкой, возможно, тоже студенткой: рядом с нами находилась общага медицинского института. Рубцов стоял рядом с флиртующими и в самый лирический момент объявил на весь троллейбус:

— Господи, уже целуются! А ведь у него жена и двое детей!

В троллейбусе, понятно, смеются, а парочка резко размыкается, смущенно и виновато оглядываясь.

Или вот картинка небезобидная, но в общем своя, простительная. В институтском буфете «Былое и думы» студенческая очередь. Появляется пропахший папиросным дымом Рубцов, проходит вперед, где у кассы стоит рослая голенастая переводчица с темными усиками, предлагает ей ласково:

— Танечка, пусти вперед, и я научу тебя, как избавиться от усов.

Студентка, улыбаясь, отталкивает его:

— А ну тебя, Коля, вечно ты с подначкой!

— Так уж и вечно! Любите вы, дамы, на одном факте обобщения делать.

— Ну, значит, с похмелья.

— Опять не попала. До стипендии еще целая неделя.

— Много на нашу стипендию погуляешь...

— Ровно неделю, если экономно — по бутылке в день.

Рубцов был точен. Стипендию на первом курсе платили двадцать два рубля, из которых полтора удерживали за общежитие. Водка стоила два рубля восемьдесят семь копеек за бутылку. Получалось ровно семь бутылок, если без закуски. А кто из студентов закусывал? Тем более — Рубцов. Не господин какой-то, не депутат, а просто сэр из СССР.

Или вот дождливый осенний день. Воскресенье. Лежу на кровати, читая. В комнату заглядывает Рубцов, мокрый, лысина блестит, с пальто капает, руки ознобно покраснели.

— Лежишь? А на улице такая холодрыга, будто на севере.

— Лежал бы и ты. Не выгоняют, кажется.

— Я только до магазина: надо ж согреться. — Достал из кармана четвертинку и прошел на середину комнаты к обеденному круглому столу. — Шляпу еще где-то потерял, голова босиком.

— Возьми вон на тумбочке мою.

— А сам?

— У меня еще серая есть.

— Хм, запасливый. — Вытер мокрую голову ладонью, примерив темную шляпу, обрадовался: — Как раз в лад. И цвет подходящий — темно-синий. Принимаю. Только не как помощь слаборазвитым странам, а в обмен на главный русский продукт. — Сковырнул ногтем «бескозырку» с посуды, разлил водку поровну в два стакана, которые не убираются со стола. — Давай, чтобы дольше носилась и не терялась.

Или вот вечер после лекций. Общая кухня на этаже. По случаю стипендии жарю на маргарине треску — самый дорогой студенческий ужин. Треска без головы стоила семьдесят копеек за кило, а с головой — пятьдесят за кило. Мы брали с головой, которая затем годилась на уху. Самый дешевый ужин — картошка за двадцать копеек. Нарисовался Рубцов, принялся, похвалив:

— Это ты правильно. В рыбе фосфору больше, ума прибавится.

— А ты уж и на рыбу не надеешься?

— Квиты, квиты! — весело засмеялся Рубцов.

Потом рассказал, что в юности, когда работал в трал-флоте, этой треской был сыт под завязку. Да не такой — снулой, десять раз перемороженной! Та была живая, икрная. И печенка не просто жирная, но ароматная, вкусная! Не то что в консервной банке...

Эта обмолвка о себе казалась нечаянной, случайной — Рубцов не любил рассказывать о прошлом. Разве проговорится вот так, между прочим. Да и то — если рядом свой человек. В подходящую минуту он мог тебя похвалить и малость приоткрыться сам, но тоже как-то мимоходом.

— У тебя какой рост? — спросил он однажды.

— Сто семьдесят шесть, — сказал я.

— Бабы, поди, любят?

— Какие любят, какие — нет.

— Да?.. Не поймешь, что им надо. Да и не в этом дело. Я вот привык к своему росту, но все же бывает досадно, если смотрят как на пацана, недомерка какого-то. И почему это я должен голову задирать перед всяким дылдой? Если бы я был как Маяковский, например, я бы стал не таким поэтом, как сейчас, а?.. Нет, таким же. По-другому у меня не получится: душа такая. Вон Тургенев крупный был, громоздкий, голова большая, а душа тоже мягкая, жалостливая. А уж у Тараса Шевченко... Не

было, говорят, поэта добрей. А вот бабы в поэзии все — самовлюбленные и жесткие, злые даже. И Ахматова, и особенно — Цветаева. Пишет о любви и тут же злится. Такой любовью можно только испортить человека.

— А у тебя как с любовью?

— Ну, что — я... Не обо мне речь. Это неинтересно. — И захлопнулся, замкнулся, торопясь в свою комнату.

У него были сложные, противоречивые отношения с женщинами. Он глядел на них как на иностранок, плохо знающих наш язык, обычаи, нашу жизнь. Не доверял их сентиментальной доброте. И... сравнивал писателей с женщинами: тоже хочется что-то родить для жизни: стихи, рассказы или романы. Все писатели в сущности — женщины. Так же вынашиваем своих будущих чад, так же трудно рожаем, болеем за них, пока не выведем в люди, напечатав в журнале или книжке. И так же гордимся своими произведениями, как мать — ребенком. Читаем их на людях и одни — для себя, чтобышний раз полюбоваться, поправить что-нибудь, причесать, пригладить. Так ведь? И очень даже понятно, когда из головы Зевса родилась какая-то богиня. Понятно, что именно Зевс, верховный бог, был хранителем семьи и порядка. А вот почему бабы становятся писателями — непонятно. Они обязаны природой рожать людей, в том числе и мужиков, писателей. Разве этого мало? А им, глупым, в самом деле мало. Им подай все!

Однажды зашел в комнату радостный, улыбающийся и сообщил как о большой победе:

— Знаешь, меня редакционная машинистка похвалила.

Я пожал плечами:

— Тебя вроде не первый раз хвалят. И на семинарах, и в застольях. Наши ребята, кажется, не чета какой-то машинистке.

— Не понимаешь, — огорчился он. — Машинистка старая уже, лет сорок работает по редакциям, профессионалка. На текст уже не отвлекается, стуча, как печатающий автомат. А тут отдает мне папку со стихами и глядит так, будто я — бог или сын родной. Спасибо, говорит, Николай Михайлович, настоящий вы поэт — давно таких стихов не читала. И отказалась взять деньги за работу. Вы, говорит, уже расплатились той радостью, какую я испытала от ваших дивных стихов. Так уважительно говорила: все время на вы, по отчеству...

Рассказывает это, а сам весь светится. Так это не похоже на него, недоверчивого, ироничного.

— Вот напечатаешь и купи себе новые туфли, — советовал я.

Он отмахнулся беспечно:

— Нашел заботу — туфли! Мне и этих до конца пятилетки хватит. — И ушел, «веселый и хороший», в неведомую даль.

Не умел он заботиться о своем быте, не обращал внимания на неустроенность, спокойно относился к безденежью, бедности. Видно, были у него заботы поважней собственных трудностей. В стихах его летят птицы, бегут кони, веют ветры, хлещут дожди, гудят поезда, корабли и машины — поэтический материк просторен, как русская земля. Он только-только стал его осваивать, обживать и в последние годы пристально вглядывался в свою северную вологодскую деревню, в избы, в крестьян и крестьянок: «Память возвращается, как птица, в то гнездо, в котором родилась».

Говорят, в его творчестве слабо аукнулись сиротское детство и отрочество, как, впрочем, и взрослость, которая наступила в пору ранней юности, когда после сельской семилетки поступил в один техникум, потом, год

спустя, — в другой и с тех пор не мог изменить свою скитальческую жизнь до самого конца. А в стихах этого вроде бы нет. Он-де человек скрытный, о себе помалкивал.

Это не так. Скрытность Николая Рубцова не распространялась на стихи. Тут он был откровенен, говорил о себе, не таясь, охотно и много, как Есенин. Все эти стихи — это откровенная романтическая повесть о жизни своего современника, которого знал лучше всех, — о Николае Рубцове. Другое дело, что мы, его товарищи, тоже по-своему зная наше время и биографию Николая, ждали романтических картин голодной военной поры, обездоленного детдомовского детства и отрочества и, наконец, бездомного скитальчества, когда даже в краткое время прижизненной известности бывало и так, что его, по словам одного из однокурсников, выносили из товарищеской пирушки то на руках, то — на кулаках.

Тут, конечно, преувеличение, но покладистостью характера Николай не отличался. Трезвый был спокойным, благодушно-ироничным, улыбчивым. Но когда выпьет и станет читать стихи или петь под гармошку, гитару свои удивительно сердечные песни, — становился напряженно строгим, будто преодолевал давнюю боль, преодолевал душевное страдание, и чем больше выпивал, тем сильнее возрастало напряжение, переходящее порой в отчуждение и злость.

Тогда глядел на окружающих подозрительно, испытующе. Небольшие карие глаза темнели и прицельно щурились. Он мог публично обличить говоруна в неискренности, назвать графоманом, поспорить. Доходило и до драки, потому что в институте студенты, особенно на первых курсах, — все гении. Впрочем, как и в других творческих вузах.

Мы как-то встречались со студентами консерватории имени Чайковского — много похожего. Кто самый великий композитор, спрашивали у первокурсника. И

тот, не задумываясь, отвечал: «Я». А чтобы не обвинили в нескромности, добавлял: «И Бетховен», Моцарт, Чайковский». На четвертом курсе он себя уже не называл, зато ревниво знал не только крупных творцов, но даже известных исполнителей и уже серьезно думал о дипломной работе, своей творческой судьбе.

Но я отвлекся. Скрытность Рубцова не распространилась на стихи. Настоящая биография поэта и его времени достаточно полно выражена именно в его творчестве. Другое дело, что он внес определенные опозитизированные коррективы в свою жизнь, и вот тут надо быть особенно внимательным и чутким, потому что здесь сказывается и особенность поэта, его непохожесть на других — ведь эти художественные коррективы делались с естественной непринужденностью, сознательно и убежденно.

Вот говорят, что скуден был паек,
Что были ночи с холодом, тоскою.
Я лучше помню ивы над рекою
И запоздалый в поле огонек.

До слез теперь любимые места!
И там, в глуши, под крышею детдома
Для нас звучало как-то незнакомо,
Нас оскорбляло слово «сирота».

Это сказано серьезно, без обычной мягкой иронии, как и о сельской школе, возле которой после занятий собирались ребяташки:

Шумной гурьбой под луной мы катались, играя.
Снег освещенный летел вороному под ноги.
Бег все быстрее... Вот вырвались в белое поле...
В чистых снегах ледяные полынные воды.
Мчимся стрелой. Приближаемся к праздничной школе...
Славное время... Души моей лучшие годы...

А для кого-то, возможно, деревенское катание в санях покажется если не убогим и старомодным, то —

обыденным, несравнимым с «американскими горками», с огромным «чертовым» колесом обозрения и другими городскими забавами. Как и рождение младенца в поле (вспомним рассказ М. Горького «Рождение человека») издавна свидетельствовало если не о бездомности, то о задавленности работой и жизнью, о нищете. У Рубцова — все по-другому:

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти дойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, мое божество!

Вот ведь куда он приходит, к каким большим выводам, этот маленький Николай Рубцов... Его северная деревня порой не просто становится символом Родины, но ее живым истоком:

Мать России целой — деревушка.
Может быть, вот этот уголок...

И в тяжкую минуту горестных раздумий опять встает Родина:

Все движется к темному устью.
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я Родину вспомню свою.

А его родина — это в первую очередь русская деревня, избы в снегу, переметенные проселочные дороги, сани и фыркающие лошади, заиндевелые леса и всхолмленные поля, а летом — цветущие луга, гурты скота в лугах, кони, телеги, суслоны пшеницы в полях, стайки веселой молодежи вечерами, песни и пляски.

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность.
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил.
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность.
И лучшую жницу, как знамя, в руках пронесил!

И быстро, как ласточка, мчался я в новом костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке.
А мимо неслись в торопливом немолкнувшем шуме
Бурливые воды, и бревна неслись по реке...

Свою деревенскую глушь поэт называет сказочной,
благодарит ее за все, потому что там

Приветили мое рождение
И трава молочная, и мед.
Мне приятно даже мух гуденье,
Муха — это тоже самолет.

В его шутейных и серьезных стихах деревня на первом месте: «Я вырос в хорошей деревне и нравился как человек». И в этой деревне, в северной русской природе он хотел бы прочувствовать и познать все:

Я так люблю осенний лес,
Над ним — сияние небес,
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист,
Иль в дождевой веселый свист,
Но, превратившись, возродиться
И возвратиться в отчий дом,
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою большою
Сказать: — Я был в лесу листом!
Сказать: — Я был в лесу дождем!
Поверьте мне: я чист душою...

Но не только русскую деревню знал и воспевал Николай Рубцов, не только к ее сказкам прислушивался:

Эх, не ведьмы меня свели
С ума-разума песней сладкою —
Закружило меня от села вдали
Плодоносное время краткое...

И перед ним распахнулись дали великие: побывал в Сибири и Средней Азии, близко знал громадные рус-

ские мегаполисы Москву и Ленинград, не говоря уж о Вологде, Архангельске, Мурманске. А какими бескрайними показались ему, сельскому парню, морские и океанские просторы, слившиеся с небесной синевой. И он оробел — обрадовался, восхитился этими стихиями:

Я юный сын морских факторий,
Хочу, чтоб вечно шторм звучал.
Чтоб для отважных вечно — море,
А для уставших — свой причал.

Морские его стихи, созданные в юности, менее известны, изучены, хотя уже в них видна поэтическая неуемность, азарт смелого духа, который он называл адским, преследующим его всюду:

Кружусь ли я в Москве бурливой...
Несусь ли в поезде курьерском...
Засну ли я во тьме сарая...
Ищу ль предмет для поклоненья...
В науке старцев и старух, —
Нет, не найдет успокоенья
Во мне живущий адский дух!

Но не только о море с деревней писал он — своенравная муза неуемно звала его в современные города:

Мужал я под грохот МАЗов
На твердой рабочей земле.
Но хочется как-то сразу
Жить в городе и селе.

Или вот такое, тоже открытое признание:

Как часто-часто, словно птица,
Душа тоскует по лесам!
Но и не может с тем не слиться,
Что человек воздвигнул сам!

Холмы, покрытые асфальтом
И яркой россыпью огней,
Порой так шумно славят альтом,
Как будто нету их родней.

Или прекрасные стихи о Вологде... А какие горячие восклицания о Московском Кремле:

И я молюсь, о русская земля!
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звоны!

Можно назвать еще немало стихотворений, но в этом нет надобности. Такой непоседа, как Рубцов, не мог не аукнуться в городе:

Как центростремительная сила,
Жизнь меня по всей земле носила!
За морями, полными задора,
Я душою был нетерпелив, —
После дива сельского простора
Я открыл еще немало разных див.
Нахлобучив мичманку на брови,
Шел в театр, в контору, на причал.
Полный свежей юношеской крови,
Вновь куда хотел, туда и мчал...

В конце апреля 1993 года в Союзе писателей России состоялся вечер памяти Николая Рубцова. И я удивился, сколько разных людей собралось там: профессиональные моряки, поэты и прозаики, композиторы, певцы, критики и преподаватели Литературного института, журналисты, фотокоры — это лишь из числа выступавших, но и среди слушателей тоже оказались люди разных возрастов и профессий: рабочие, крестьяне, инженеры, врачи, учителя, студенты и еще кто-то, кого я не успел спросить.

В зале были выставлены его фотографии разных лет, начиная с детства поэта, потемневшая от времени Похвальная грамота с портретами Ленина и Сталина в верхних углах — ученику третьего класса Никольской семилетней школы Николаю Рубцову за отличные успехи и примерное поведение, его разные записки, разрозненные листки рукописей, сборники стихов...

На этом вечере в воспоминаниях товарищей и всех знавших поэта при жизни почти зримо возник — помогла, естественно, и фотовыставка — молодой Рубцов, то сосредоточенно-задумчивый, то озорной, то весело хохочущий или обаятельно улыбающийся. Он был хорошим моряком все четыре года службы на Северном флоте — не только потому, что всякое дело, если уж отвечал за него, он выполнял добросовестно, но еще и потому, что до военной службы поработал в траловом флоте и уже знал море и корабельную службу. Разница, конечно, имелась, но морская стихия уже стала родной. Он уверенно чувствовал себя на палубе или в кубрике эсминца, играл морякам на гитаре, пел известные народные и авторские песни, иногда неизвестные — свои, любил играть в шахматы и, естественно, писал стихи.

С Валентином Сафоновым, сослуживцем и в то время еще стихотворцем, они состояли в одном литературном объединении при флотской газете «На страже Заполярья». И вот теперь Сафонов, по-прежнему плечистый, крупный, но седовласый прозаик, стоял на сцене и расслабленно вспоминал те далекие годы — яркие, весенние, — своего дорогого друга и стихи, которые они приносили тогда вот к этому — Валентин показал на сидящего рядом за столом пожилого мужчину — начальнику литературного объединения, заведующему отделом флотской газеты капитану Матвееву, который считал себя звездой поэзии не первой величины, но тогда скромничал, и ироничный Рубцов ему весело возразил:

— Да не звезда ты, Володя, — ты солнце нашей североморской поэзии!

Военной службой Николай гордился и четыре года никогда не считал пропавшими зря, как считают теперь некоторые молодые и далеко не молодые интеллигенты, называющие армию и флот той жизненной школой,

которую лучше закончить заочно. Гражданский долг он уважал и почитал:

Все же слово молодости «долг»,
То, что нас на флот ведет и в полк,
Вечно будет, что там ни пиши,
Первым словом мысли и души.

— Первым! — подчеркнул Валентин.

Многие студенты института наверняка до сих пор помнят давний случай, когда со стен лестничных площадок вдруг пропали портреты Пушкина, Лермонтова, Л. Толстого, Горького, Маяковского и других классиков. Комендант общежития Нина Акимовна в панике доложила об этом проректору Палехину, который тотчас начал искать похитителя. Все студенты уже уехали на лекции. Заметив приоткрытую дверь одной из комнат, Циклоп сунулся туда и застыл от изумления: пропавшие классики великой русской литературы, как были в рамках со стеклами, так и стояли целехонькие вдоль стены и у письменного стола, а перед ними прямо на полу сидел плешивый студент и приветливо с ними разговаривал. На разостланной перед ним газете стояли почти пустая бутылка водки и два стакана. Захорошевший студент беседовал с классиками и выпивал с ними, будто со своими приятелями. Один стакан с водкой он двигал от портрета к портрету, а вторым чокался с ним, произносил тост в честь великого собутельника и выпивал. Проректор накрыл преступника с поличным, когда тот устанавливал контакт с самим Маяковским — лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи, и уж чокался с ним, но Циклоп решительно пресек такое кощунство.

— Как фамилия? — прошептал он, задыхаясь от гнева. Пьяненький студент поглядел на него с укоризной:

— Ты откуда возник, дед? Не мешай нам, иди, откуда пришел.

— Фамилия, говорю!

Студент добродушно улыбнулся:

— Рубцов. Николай Михайлович Рубцов, если точнее. Русский поэт.

И опять посоветовал не мешать общению творческих людей, но проректор не послушался, потом он во всех подробностях не раз повествовал об этом возмутительном факте, а в докладной на имя ректора говорил об оскорблении культурных святынь, настаивая на письменном объяснении преступника и примерном его наказании. Когда же ректор не внял его советам, Циклоп упрекал того за попустительство и несерьезность. Ведь таким, как Рубцов, дай волю, они самого генерального секретаря ЦК нашей партии споят!

Рубцов же, когда у него допытывались, как бражничал с классиками, лишь улыбался¹. С тех пор отношения бдительного проректора и своевольного студента сильно испортились. Приезжая в Москву между сессиями по своим литературным делам, Рубцов жил в общежитии нелегально. И настырный Циклоп, узнав об этом, выслеживал его, как охотник дикого зверя. Николай прятался в туалетах, убегал на кухни, залезал под койки товарищей. Другой бы обозлился по гроб жизни, но Коля обошелся добродушной иронией:

Все мы у Циклопа словно дети,
Он желает нас оберегать.
Самое забавное на свете —
Это от Циклопа убежать.

Несмотря на неустроенность и вольный нрав, учился Рубцов настойчиво и неплохо: много читал, а поэзию

¹ А таинственно улыбался Рубцов потому, что все рассказанное тут произошло не совсем так. (Примеч. сост.)

знал очень хорошо, причем — не только классиков, но и талантливых современников, как живых, так и недавно почивших. У него есть стихи, где даны высокие и порубцовски своеобразные оценки поэтов: «О Пушкине», «Дуэль» (о Лермонтове), «Приезд Тютчева», «Я переписывать не стану» (о Фете и Тютчеве), «Памяти Анциферова», «Последняя ночь» (о Дмитрие Кедрине) и другие. Творчество Кедрина и его трагический конец казались созвучны Рубцову. Он читал наизусть некоторые его стихи и особенно хорошо — драматическую поэму «Зодчие» — о строителях храма Василия Блаженного.

Спокойно-размеренным стихом, отмахивая рукой ритмический строй, Коля торжественно читал о строительстве невиданного храма, о восхищении тогдашнего московского народа и самого царя Ивана Грозного дивной новостройкой сказочной красоты и особенно — мастерством русских строителей, безвестных владимирских зодчих, статных, босых, молодых. Тут голос Рубцова напряженно звенел, переходя в трагический шепот. «И спросил благодетель: «А можете ль сделать пригожей, / Благолепнее этого храма, другой, говорю?» И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем! Прикажи, государь!» И ударились в ноги царю. И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, / Чтоб в земле его церковь стояла одна такова, / Чтобы в Суздальских землях и в землях Рязанских и прочих / Не поставили лучшего храма, чем храм Покрова!..» Последние строфы поэмы Николай дочитывал гневным полупшепотом, а в конце махнул рукой и горестно заключил:

— И такого поэта у нас убили неизвестно кто, непонятно за что при невыясненных обстоятельствах... Да их и не выясняли, наверно. Сорок пятый год, недавно утихла война, страна в развалинах, многие миллионы убитых и искалеченных, и что там еще один погиб-

ший, хоть бы и поэт... Скромный, говорят, был, в заводской многотиражке в Мытищах сперва работал, там и жил...

Валентин Сафонов позже вспоминал, что любовь к Дмитрию Кедрину у них с Рубцовым возникла еще в пору флотской молодости, когда учились стихам в литобъединении Североморской военной газеты. Ведь Кедрин очень русский поэт, тонко чувствует язык, мастер. А Рубцов всегда ценил мастерство, даже в стихах говоря об этом:

Творя бессмертное творенье,
Смиря бойких рифм дожди,
Тружусь. И чувствую волненье
В своей прокуренной груди.
Строптивый стих, как зверь страшенный,
Горбятся, бьется под рукой.
Мой стиль, увы, несовершенный,
Но я ж — не Пушкин, я — другой...

Запомнился мне еще шуточный рассказ Рубцова о том, как сдал курсовой экзамен по языкознанию доценту Нине Петровне Утехиной. Ученая эта дама, полная, ухоженная, умница, благоволила к студентам, курила в коридоре вместе с ними, но главное — очень любила русский язык, замечала все неординарные надписи на заборах, на бортах машин, запоминала меткие замечания в магазинах, на улице, в метро или автобусах. Мы тоже работали со словом и, следовательно, были ее общниками, соратниками.

На вопросы экзаменационного билета Рубцов ответил уверенно, и Утехина попросила прочитать его собственные стихи. Николай прочел два стихотворения. Она приятно удивилась и попросила прочитать еще. Николай прочитал «Русский огонек». Утехина глядела на него, выпятив полные крашенные губы, уже с большим интересом, потом взяла зачетку, спросив с доброй улыбкой:

— Откуда у вас такая душа, Рубцов?

— Какая? — не понял он.

— Большая, безразмерная. И к языку вы чутки, особенно к звуковой его стороне, к музыке. Вот бы еще научных знаний побольше, теории. Вам говорят что-нибудь такие имена, как Греч, Корш, Даль, Бодуэн де Куртенэ?

— Да, но это, кажется, больше к теории, к языкознанию.

— В общем отчасти верно, а все-таки?

— Ну, Даля кто же не знает! Владимир Иванович подарил нам такой богатый словарь... Присутствовал при кончине Пушкина... А Греч — это тот, что в «Сыне Отечества» и «Северной пчеле», друг Булгарина и враг Пушкина, да?

— Да, но он был еще и автором «Практической русской грамматики», «Чтений о русском языке»...

— Это — немец?

— Что ж, Даль ведь тоже был немец... А что вы скажете о Бодуэне де Куртенэ, о Розентале и Чикобаве?

Николай вздохнул и сокрушенно покачал лысой головушкой:

— Господи, кто только не занимался у нас русским языком!

Утехина засмеялась и вернула ему зачетку с хорошей оценкой:

— Талантливые у вас стихи, Рубцов, сердечные. «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». Спасибо. Жаль только, в жизни за добро нередко приходится горько расплачиваться, а за любовь — еще горше, дороже. Особенно таким, как вы, Рубцов. С таких взыскивается полной мерой.

— Почему, Нина Петровна?

— Искренний вы, открытый со всех сторон, незащищенный.

— Но почему именно это наказывается?

— Если бы знать...

Славная она была, Нина Петровна Утехина, приметливая и обаятельная ученая дама, увы, тоже умершая до времени.

И еще одна картинка, самая обычная в нашем общежитии, — студенческий междусобойчик с участием Николая Рубцова. Помнится, в шестьдесят шестом году, когда наш курс доживал последние месяцы перед выпуском, а Рубцов учился на заочном, и вот приехал на очередную сессию.

Собрались в этот раз у меня в комнате, потому что накануне я получил в «Известиях» гонорар за внутренние рецензии на литературный самотек, и пирушка собиралась за мой счет. Расположились за круглым обеденным столом и сперва только четверо: Валентин Сафонов, его младший брат Эрнст, тоже плотный очкастый прозаик, Николай Рубцов с гитарой между ног и аз грешный. Вскоре на песенный огонек стали заходить наши приятели, рассаживаясь на кровати, на тумбочки, за письменным столом, а кто и прямо на полу у батареи парового отопления.

Студенческие наши пирушки конечно же были очень скромными — несколько бутылок водки, хлеб, лук, килька пряного посола, ну, еще отварная картошка. Но сейчас, много лет спустя, эти пирушки кажутся мне веселыми, интересными, содержательными, даже — богатыми. Где еще, как не на таком междусобойчике, услышишь новые стихи, песни, частушки, анекдоты? Где, как не здесь, станешь участником диспутов на экономические, политические и международные темы, не говоря уж о литературных? Ведь многодумный критик или серьезный прозаик не станут читать здесь статью, рассказ или отрывок из романа, но краткие их авторефераты будут изложены живо, занимательно. А сколько заверений в

дружбе и профессиональном товариществе тут услышишь, а каким находчивым и говорливым неожиданно окажется вечный молчун из группы переводчиков, которого ты принимал за пустое место!

Вдобавок ко всему ты уйдешь отсюда не то чтобы сытым до отвала, но все ж не голодным, весело захорошевшим. Ты ведь не есть сюда шел, даже не пить, а вот же и выпил, — к тем первым бутылкам поднесли еще несколько — магазин рядом, сбегать дело минутное. И закусил прилично: не только хлеб и зеленый лук были, но и отварной рассыпчатой картошки полведерная кастрюля да еще килька развесная, пряная, каспийская — настоящая рыба мать на рубль сто штук! Что еще надо советскому студенту, интеллектуальному пролетарию, гегемону столичной молодежи? Песню! И вот Рубцов склонился над гитарой, весело и легко запел:

Хлопнешь по карману — не звенит.
Хлопнешь по другому — не слышать!
В коммунизма солнечный зенит
Полетели мысли отдыхать!

Вот так она звучала тогда, эта песня. Рубцов еще вовсе не думал о Ялте и отдыхе у моря, а о коммунизме ему с детства прожужжали уши. В книжке цензура заставила поправить эти строки. Нам же он пел живые, нетронутые чужой волей:

Память отбивается от рук,
Молодость уходит из-под ног.
Солнышко описывает круг —
Жизненный отсчитывает срок.

Но очнись и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.

Как усталая птица, склонив голову набок, он пощипывал струны гитары и негромко, раздумчиво пел:

Привет, Россия, — родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...

Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле — по селам и столицам!
Я сильным был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться...

А порой не пел, а исполнял речитативом под собственный аккомпанемент новое стихотворение:

Мы сваливать не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет, тот и правит.
Поехал, так — держись!

Я повода оставил.
Смотрю другим вослед.
Сам ехал бы и правил,
Да мне дороги нет.

Любимой в нашем кругу была его сказочно простая, необыкновенно доверчивая и ласковая песня «В горнице». Кроткая, как молитва! Поэтому ее можно было слушать бесконечно и так же неумно хвалить исполнителя:

— Ах, Коля, какой ты кудесник! Хозяин, наливай, а то уже заслушались. Интервал надо соблюдать — девять секунд давно прошли!

Одобрительный шум, гам, звон стаканов, тосты в честь настоящей поэзии, в честь такого таланта! Говорят все больше, чем слушают, и чаще не слышат, что говорят... Какого таланта? Ну, большого, хорошего... А у нас таланты маленькие и плохие, да? Не заводись, имей совесть! Верно! Все мы талантливы, но ведь по-разному, ребята, по-скромному, а Николай — явно, ярко, по-своему... А мы — как? И мы по-своему... Нет, мы больше хором, а он — скиталец, бродяга, песни любит, и в стихах у него больше перелетные птицы да кони, а кошек и собак, как у Есенина, нет совсем. Упомянута

одна, но и та с насмешкой: «Да, собака — друг человеку. Одному. А другому — враг». Вот ведь...

Рубцов смеялся звонко, залиvisto. Он был в дружеском окружении, весело принимая оценки своего творчества, радовался, что его легко прислоняют к Есенину, и снова читал, наневал свои стихи под гитару, прерываясь, чтобы выпить, покурить или принять участие в разговорах, которые становились оживленной и громче.

— А вот еще Пушкин был, Александр Сергеевич, тоже поэт вроде бы неплохой, а? — подмигнул серьезный и насмешливый Эрнст Сафонов. — И что характерно, прозу умел писать хорошую, статьи...

— Язва ты, старик! Но главной в литературе остается все же проза. — Это Андрей Павлов, прозаик из Куйбышева, тоже серьезный и самый старший среди нас. — Достоевский, Толстой, Чехов — как без них? А Шолохов, например?..

Ему возразил веселый и быстрый наш однокурсник Евгений Антошкин, лет на десять моложе Павлова, к тому же — поэт:

— Нет, Андрей, поэзия первой прозы, от нее и песни, и молитвы, и ритуальные плачи-причитания. Так, хозяин?

— Так, — подтвердил я. — Поэзия выше всех жанров литературы. А за ней, вернее, над поэзией пойдет музыка, над которой — душа человеческая, выше которой — лишь Бог! Так, Коля?

— Утверждаю, — засмеялся Рубцов. — Наливай за поэзию!

Опять веселый шум, гам, стеклянный звон, тосты, объятия. Одобрительный шум смирил, сверкнув очками, солидный Сафонов. Конечно же опять Эрнст, который всегда был впереди старшего Валентина.

— А вот Лермонтов еще был, Михаил Юрьич. Также неплохой поэт.

— Лермонтов — не поэт, Лермонтов — демон, небожитель. Его стихи, песни, молитвы, поэмы... Да разве ж можно тут кого сравнивать?!

И опять разговор стал всеобщим. Ведь судьба Лермонтова тесно связана с судьбой России. Его юбилейные годовщины оборачивались мировыми драмами. В тысяча девятьсот четырнадцатом, в столетие со дня рождения, — Первая мировая война, в сорок первом собрались отметить столетие со дня смерти — Вторая мировая война, а? Мистика! Почему же только с ним эта мистика? Возьмите, например, его «Маскарад». В конце февраля семнадцатого года — премьера спектакля, и тут на тебе — Февральская революция, начало развала России. А в сорок первом премьера случилась ровно двадцать второго июня. Через двадцать пять лет — уже стопятидесятилетие со дня смерти Лермонтова. Запомните, ребята, обязательно случится у нас великая катастрофа! Ох, друзья мои, договоримся мы хрен знает до чего, впору плакать. Лучше перейдем на частушки. Не надо мелочовки, сядь. Послушаем еще Николая. О журавлях, если можно! И воцаряется тишина. Все невольно заводят глаза к потолку, откуда вот-вот польются знакомые журавлиные клики. Начинается чистая, дивная песня, знакомая-презнакомая, но оттого все равно — вечная.

Скоро сорок лет с той студенческой вечеринки. И с тех пор как-то нечаянно, незаметно скрылась наша молодость, а для некоторых и — жизнь. Но рубцовские стихи и песни все звучат и звучат с прежней чистотой и нежностью, как те весенние, из колючего терновника, соловьиные трели среди лесной птичьей разноголо-сицы.

Эдуард Крылов

НА ПЕРВОМ КУРСЕ

В первые дни учебы мы часто собирались в одной из комнат общежития и нередко всю ночь напролет читали по кругу свои стихи. Мнения при этом, как правило, не высказывались — соразмеряли свой бесспорный талант с другими, сомнительными талантами, вынырнувшими неизвестно откуда. За грудки друг друга никто не брал, рубашек не рвали. Все это будет позже. А пока поэты только знакомились, пытались определить свое место в поэтической иерархии будущего курса, семинара.

Вошли Рубцов и Макаров, чтение было прервано. Рубцов прошел к кровати, где уже сидели человек пять, ребята подвинулись. Он не то чтобы сел, а как-то упал боком на кровать, провалив и без того нагруженную сетку и сам провалившись между рослыми ребятами. Сергей остался у дверей.

Стали читать дальше. Рубцов слушал, крутил головой, хмурился, иногда усмеялся, но не открыто, а только намеком, даже не в половину, а в четверть жеста (вообще это было характерно для него — не доводить ни одного мимического жеста до конца). Стихи ему явно не нравились. Дошла очередь до Сергея Макарова. Он прочитал стихотворение «Павел Васильев». Рубцов был доволен, в полужестах его сквозило — знай наших. Кто-то завел нудную поэму. Рубцов по-

скуучел, опустив голову на руки. Кончилась поэма, и в полной тишине прозвучал голос Рубцова:

— Бездарно все это!

Возник ропот. Кто-то крикнул:

— Ты не выступай, а прочти стихи! Тогда посмотрим...

Рубцов резко встал, заявив:

— Не буду читать — не хочу. Пойдем, Сережа.

И они ушли.

Осенью наш курс работал в колхозе под Загорском. Стояли дождливые дни. От безделья мы валялись на соломенных тюфяках или читали стихи. Рубцов подошел к нашей группе, лег, облокотясь на тюфяк, и, немного послушав, простодушно удивился:

— Разве это — стихи?

— Тогда давай свои, — предложил кто-то.

Он сел и стал монотонно читать «Фиалки». Но с каждой новой строкой голос звучал все звонче, выразительней, пока не превратился в то, что называется «криком души». Впечатление было очень сильным. Тогда кумирами публики являлись Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Однако в Рубцове мы сразу почувствовали нечто совсем иное. Парадоксально, только непривычная поэзия под Евтушенко уже звучала слишком обычно. Никто ничего не сказал после чтения «Фиалок», но стихи больше почему-то не читали.

Позже на курсе выделились три явных лидера — Николай Рубцов, Александр Черевченко и Павел Мелехин. Прозаики сразу и безоговорочно признали первым Рубцова. Поэты же либо вовсе не признавали его, либо — с большими оговорками, отводя ему очень скромное место. Самыми же преданными его почитателями являлись люди, далекие от литературных кругов. Все они, кому я читал Рубцова, просили переписи

сать стихи и познакомить с поэтом. Напоминаю, что это был 1962 год.

Какое-то время мы жили в одной комнате. Его стол всегда был завален стихами, старыми и новыми, в рукописях и отпечатанными на машинке. И я никак не мог понять, когда же Николай пишет? Во всяком случае, ни разу не видел его «сочиняющим» стихи. Днем у него для этого явно не было времени; вечерами мы шли к кому-нибудь в гости или к нам кто-то приходил. Спать ложились всегда поздно. И утром я обычно видел его еще в постели.

Но однажды я проснулся очень рано и вышел в коридор. В пальто с поднятым воротником, совершенно ушедший в себя, Рубцов мерил шагами паркет. Он не сразу заметил меня, а увидев, остановил:

— Вот послушай строчки.

И прочитал почти законченное стихотворение, которое позже стало называться «Плыть, плыть...».

Над стихами Николай работал всегда и везде, но его лучшими часами была глубокая ночь и самое раннее утро. Потом он снова ложился спать. Не помню, у кого написано о Есенине, что тот в самом тяжелом состоянии мог заснуть за столом на пятнадцать минут и проснуться совершенно трезвым. Точно так же мог и Рубцов. Он был готов в любую минуту встать и начать работу.

О Рубцове порою говорят или даже пишут как о человеке характера тяжелого, вздорного, неуравновешенного. Ссылаются при этом на различные эксцессы. Да, они бывали. Вспомню некоторые. К его близкому другу Анатолию Передрееву пришла девушка. Самого Анатолия не было. Его ждали с минуты на минуту. А пока мы, несколько человек, вполне безобидно коротали время. Один из малознакомых нам гостей вдруг начал говорить двусмысленности, затем сделал попытку облапить

девушку. Николай молча встал и двинул парня так, что тот рухнул на кровать, сломав пополам гитару.

Другой случай. Мой друг Анатолий Черевченко привел своего товарища специально «на Рубцова». Тогда подобные хождения стали какой-то модой, поветрием. И он тонко это чувствовал. Именно в этот период он часто и, казалось, без всякого повода категорически отказывался читать стихи. Так было и на сей раз. Но товарищу, видимо, было жалко уходить, не послушав Рубцова, и он настойчиво просил его почитать. Рубцов неожиданно для всех закатил ему пощечину. Все были шокированы, потому что ни малейшего основания для этого не видели. Позже я спросил Рубцова, зачем он это сделал.

— А пусть не ходит смотреть на меня, как в зверинец, — ответил он.

В компаниях он мог быть самым разным. То центром всеобщего внимания, то глубоким и тонким собеседником, то безудержным весельчаком, то молчаливым наблюдателем, то совершенно незаметным «неучастником».

Он был всяким, но никогда — вздорным или злым.

Однажды, получив в Литфонде пособие, пошли мы с ним по Хорошевке к Ленинградскому проспекту. На другой стороне проспекта увидели необычайное строение: некая смесь готики и чего-то такого, чему и названия нет, но явно — русское. Заинтересовались, перешли улицу. Во дворе на веревках сушилось белье, через полуоткрытые двери дома можно было видеть мешки с цементом или известкой. У белья оказалась женщина. Спросили про дом.

— Так это же дом Соколова, — охотно ответила она.

— Какого Соколова?

— Первого хозяина «Яра». Знаете песню «Соколовский хор у «Яра» был когда-то знаменит...»?

— А кто строил его и почему так странно?

— Соколов пригласил архитектора-немца. Тот построил дом на свой немецкий лад, но Соколову дом не понравился, и он по собственному проекту перестроил его. Теперь здесь склад строительных материалов.

— А где сам яр?

Женщина показала на асфальтированный переулок:

— Вот здесь он и был, но засыпали и провели дорогу.

— Жаль, если его вообще снесут, — сказал, когда мы отошли, Рубцов. — Это же страница истории...

По дороге я вспомнил, что завтра день рождения девушки, которую я любил. Она училась в другом городе, и мы были в давней ссоре. Рубцов заинтересовался, выслушав весь мой рассказ, и потащил на почту:

— Давай телеграмму!

— Но это совершенно бесполезно. Мы не виделись года два, не переписывались. Просто глупо.

— Давай, давай...

Сам взял бланк, сунул мне ручку. И я послал телеграмму...

О поэзии и поэтах, как ни странно, говорить он не любил. К поэзии своих друзей — Анатолия Передреева, Станислава Куняева, Владимира Соколова, Глеба Горбовского — был снисходителен, ценя больше дружбу, чем их творчество. А вот другим не прощал ни малейшей слабости.

Философствовать, в отличие от всех нас, не любил, но если уж заводился, то спорил страстно, готовый дойти хоть до кулачной драки. На жизнь стремился смотреть просто — «Звезды на небе — ночь! Солнце на небе — день!». Но сам мучился и страдал от сложности жизни.

Преподавателю по стилистике показал стихотворение «Осенняя песня» («Потонула во тьме отдаленная пристань. По канаве помчался — эх — осенний по-

ток...»). Стилист стихотворение похвалил, но решительно возразил против «эх». Рубцов стал с ним спорить, но переубедить не смог.

— Как он не понимает, что в этом «эх» — все: и движение, и настроение. К черту стилистику, если она мешает мне выразить то, что я хочу! — сказал он сердито.

Из невообразимого хаоса бумаг на своем столе Рубцов каким-то образом выуживал необходимые стихи, складывал в тоненькие стопочки и разносил их по редакциям журналов. Возвратясь, смеялся:

— Загадка. Берут, но всегда самые слабые. Ну, почему не взять вот эти или эти — в них все-таки что-то есть.

Однажды, это было уже не на первом курсе, он собрал книгу стихов и отнес в издательство.

— Понимаешь, — рассказывал мне потом, опять же смеясь, — редактор читал мои стихи семье, друзьям, знакомым, переписывает их для себя, а издавать не хочет.

Увы, такое время было. Но я не помню, чтобы кто-нибудь смеялся так хорошо, так увлеченно, как Рубцов. Каким-то мелким залиvistым смехом. В глазах его часто мелькала хитринка — быстрая, почти неуловимая.

Все разъехались на каникулы. Только мы с Колей оставались в общежитии. Мне ехать было некуда, а его что-то задерживало. Но вот собрался и он в свою Нинолу. Я зашел к нему в комнату. На полу лежал раскрытый чемодан. Сам он сидел на корточках и запускал желтого цыпленка, который как-то боком прыгал на металлических лапах и старательно клевал пол. Рубцов залиvistо смеялся, хлопал руками по полу, как бы отгоняя цыпленка, а меня даже не заметил. Я постоял, потом, увидев в чемодане поверх белья странную книжицу, взял ее и вышел. Книжица оказалась отпечатанной на машинке и называлась «Волны и скалы». Тридцать восемь стихотворений. Я прочитал ее всю, и, каюсь, мне

захотелось ее присвоить. Я присоединил книжицу к папке с его стихами и двум тетрадам, которые уже хранились у меня. Но потом мне стало совестно — все-таки книжка — не рукопись, да и как бы я стал смотреть ему в глаза? И снова пошел к нему. К моему удивлению, он все еще запускал цыпленка, забыв обо всем на свете. Я окликнул его.

— Вот посмотри. Хорошо, правда? Дочке повезу. — И он опять пустил цыпленка прыгать по полу.

Я попросил у него книжку.

— Извини, не могу. Это единственный экземпляр. Всего их было шесть.

И он рассказал мне историю появления этой книжки. Мы стали прощаться. Он попросил меня обменяться шарфами. Я принес ему шарф в черно-белую клетку, взамен получив его темно-бордовый.

Василий Макеев

И ВСЕЙ ДУШОЙ, КОТОРУЮ НЕ ЖАЛЬ...

Нет ничего странного, что любимые стихи хороших поэтов со временем в нашей памяти становятся как бы полнокровнее, наполняются новым провидческим смыслом, все сильнее берут за душу, ежели она есть. Они нежданно-негаданно, подобно лопнувшему маковому бутону, вспыхнут в сознании и цветут уже долго и привязчиво, тревожа и волнуя своей необъятной высокой красотой.

Так недавно случилось со мной, когда вдруг в какой-то злой заморочный час из гнетущей январской промозглости выплыли и зажили во мне полузабытые строчки Николая Рубцова: «И тихо так, как будто никогда уже не будет в жизни потрясений...» Несколько дней в ничемных заботах, раздражаясь или закипая отчего-то, я бормотал про себя: «Уже не будет в жизни потрясений...» — и обретал желанное душевное успокоение.

Конечно, я помнил волшебное, тончайшее по настрою и льющейся музыке слов продолжение этих строк:

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром...

Но в потрясенной донельзя стране и жизни обещание конца потрясений задевало больше. И сами по себе

стали вспоминаться другие стихи давно погибшего учителя и друга, пророческий смысл которых в полной мере открылся только сейчас. Их можно цитировать до бесконечности:

Огнем, враждой земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет!

Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа...

Что же мы, почти над кюветом,
Несемся и дальше стрелой...

Предощущение грядущих потрясений в судьбе России, трагичности ее пути постоянно мучило Рубцова и суровым грозовым облаком озаряло его стихи. И свою судьбу он предугадывал, предрекая свою смерть в крещенские морозы. Но в полную гибель России не хотел верить, отчаянно цепляясь за какие-то надежды. При этом ссылаясь на Ленина: «Вот Ленин взял да выдумал нэп и накормил народ! И у нас, погляди, кто-то что-нибудь придумает». Этот разговор происходил в конце тех же шестидесятых, когда стране, казалось, ничто не грозило, — наоборот, она сама грозила чуть ли не полмиру, а уж к проблеме питания даже мы, полунищие студенты Литинститута, относились спустя рукава. Я же был сыт и пьян по ноздри своим студенчеством, званием поэта, первыми публикациями, близостью к Рубцову и с великим недоумением наблюдал за его тревогами и вечной тоской. Николай пытался бодриться, писал шуточные стихи, распевал их в общежитских коридорах, а звучали они все равно грустно.

В 1966 году соплезвонистым хуторским казачком сразу после одиннадцатилетки, на удивление всей родне, я поступил в заветный институт. Познания мои

в поэзии были чертополошны и беспорядочны: я довольно хорошо знал Блока и Есенина, взахлеб упивался только что открытым Пастернаком, Цветаевой, в то же время бережно хранил вырванные из «Юности» подборки стихов Евтушенко с Вознесенским и с удовольствием читал книжки какого-нибудь Волгина или Грудева. Хотя внутри уже шелохнулось некое слабое подозрение в шарлатанстве тогдашних поэтических кумиров, но честно признаться в этом я не смел даже самому себе.

По давней традиции первокурсники Литинститута в начале учебного года проводили поэтический вечер, показывая преподавателям и старшим товарищам товар лицом. На вечере я продишканил нечто распевно-казачье с густым самогонным духманом, что в ту пору тоже никоим образом не поощрялось, поэтому сорвал толику аплодисментов от скептических слушателей. Тут бесшумно и властно меня взял под локоть кудрявый, грубовато-красивый парень Саша Петров с Урала, торжественно сказав: «Пойдем, тебя зовет Коля». И потянул к выходу. Никакого Колю я не знал ни во сне, ни вживе, но почему-то понял: надо идти. Кажется, даже сердчишко запрядало почаще.

В институтском дворике возле позеленевшего памятника Герцену стоял приземистый лысоватый мужичок в куцем осеннем пальтишке — ну, точь-в-точь колхозный кладовщик — и сверлил меня маленькими пронзительными глазками цвета потемнелой вязовой коры.

— Это же Коля Рубцов, — подтолкнул меня к нему кудрявый Саша.

Мужичок еще некоторое время почти с ненавистью вглядывался в меня, потом вдруг заморгал часто-часто и почти закричал:

— У тебя нет России! Есенин пел про Русь уходящую, я пою про Русь ушедшую, а у тебя вообще никакой нет!

Но последние слова почему-то прозвучали почти вопросительно. Мне показалось даже, что глаза Рубцова увлажнились. Я молчал, едва ли не перепуганный. Видно, моя покорливость ему понравилась. Коля погладил меня по плечу, улыбнулся какой-то удлинённой забавной улыбкой и сказал совсем ласково:

— Ну, пошли с нами.

И мы пошли пить портвейн.

В тот же вечер я услышал стихи Рубцова, многие из которых он исполнял своим особенным речитативом под гитару. И пел, и просто читал очень ясно и отчетливо, неуловимо подчеркивая музыку каждого слова, в такт помахивая от груди и вверх маленькой крепкой рукой. Как в водяную воронку, втягивал он душу слушателя все глубже и глубже в свою печаль, да так, что притихшая компания не сразу могла прийти в себя и даже после разудалой «Жалобы алкоголика»:

Ах, что я делаю, зачем я мучаю
Больной и маленький свой организм.
Ах, по какому же такому случаю
Всю люди борются за коммунизм?

Так я вошел в небольшой кружок друзей и поклонников Рубцова, который постоянно волочил за ним во все время его институтской жизни и которому он несколько капризно доверял. За ним стойко стояла слава первого поэта Литинститута. А первому по штату полагается свита. Поэтому в одиночестве Рубцов в Москве практически не бывал никогда и стихов не писал.

Родиной его стихов почти всегда были Вологда, райцентровские городки и старинные села около них. Мы в Москве, падкой испокон веков на всякую всесветную

сволочь, спорили о новаторстве, верлибре, «евтушенковской» рифме, а тут из очередного побега на родину возвращался посвежевший, поопрятневший Николай и напевал нам по простоте душевной про эту тихую родину, про русский огонек, доброго Филю, какое-нибудь Ферапонтово или про чью-то горькую чужбину, а то о чем-то русском вообще. И все становилось на свои места. «Антимиры» и «Братская ГЭС» так и шли дружно по разряду экспериментов и «новаторства», а «Добрый Филя» нечаянно становился классикой русской поэзии.

Отношения Рубцова с институтом никак не могли упорядочиться. Учился он чрезвычайно долго, числился и на очном отделении, и насовсем изгонялся, и восстанавливался на заочном. Когда меня ему представили, он считался заочником, хотя почти постоянно жил в институтском общежитии, будучи гонимым и преследуемым тогдашним суровым комендантом, который старался вытурить Рубцова из своих владений, да не тут-то было: сердобольные вахтерши пропускали поэта на этажи, где он терялся как иголка в стоге сена. Да еще по-мальчишески поддразнивал коменданта. Та всегда шла на гитарный перебор, надеясь сцапать нелегально-го прожигальщика.

Мой сосед по комнате снимал квартиру в городе. И Николай часто ночевал на свободной койке. Половые матрасы ему изрядно поднадоели. Хотя в быту он вел себя более чем непритязательно. Помню, как-то утром, потирая высокий лоб ладонью, он вдруг обнаружил, что два дня не ел. Задумался горестно, потом, вспомнив что-то, облегченно засмеялся:

— Но ведь пиво-то мы пили? А пиво — жидкий хлеб! Жить — будем!

В характере у Рубцова, при всей тяжелой капризности, была огромная доля детской веселости. Без нее

Коля не написал бы ряда прелестных детских стихов, меньше бы любили и почитали его друзья. Однажды он перепечатывал рукопись своей новой книги «Сосен шум». И мне в течение десятка дней посчастливилось видеть его милым, трезвым и благообразным. Тогда мы вдоволь насудачились о поэзии. Я, видимо, нравился ему своей откровенной молодостью, влюбленностью в Есенина и в него, готовностью день и ночь слушать и читать стихи. И он не притворялся.

А носить маску этакого мужичка-хитрована из дремучего леса он умел, бродя по вечно слякотной Москве в рябых подшитых валенках или наигрывая на гармошке в богемном застолье незатейливые «страдания». По институту ходила восхищенная — знай наших! — история про знакомство Рубцова с Евтушенко. Побрел-де наш Коля за гонораром в «Юность», зашел в отдел поэзии, сидит себе в уголке, покуривая. И тут в комнату во всем своем блеске, «рыжине и славе» врывается Евтушенко с журналом в руках и кричит:

— Кто такой Рубцов? Познакомьте, я хочу обнять его!

А ему Дрофенко или Чухонцев показывают — вон, мол, он покуривает.

И подошел журавлино Евтушенко к Коле, протянул торжественно руку, продекламировав:

— Евгений Евтушенко!

Поглядел на него прищуристо Коля, поморгал мохнатыми ресничками, почесал в затылке и ответил:

— Наверде что-то слышал про такого...

В действительности Рубцов блестяще знал всю русскую и многое из европейской поэзии, например читая наизусть Вийона. Малоформатный сборник Тютчева всегда носил в кармане пиджака, на какие-то простецко-щемящие мотивы напевал его стихи со слезами на глазах. Кроме Пушкина, вровень с Тютчевым не ставил

никого, даже любимого Есенина, справедливо считая, что на уровне Есенина можно все-таки написать несколько стихотворений, а Тютчев — недостижим вовеки! Наверно, от Есенина он перенял страстную любовь к Гоголю, по памяти читая его большими кусками и почитая за гениального поэта.

Из современных поэтов, по правде говоря, очень высоко никого не ставил. Я видел его почтительным с Николаем Тряпкиным, сам по его просьбе знакомил с Федором Суховым. Он уважал их творчество, но не более. В пору нашего знакомства Коля уже отделился от кружка поэтов Владимира Соколова, Станислава Куняева, Анатолия Передреева и Игоря Шкляревского, объяснив это так:

— Они меня свысока любят, а мне лучше запанибрата, чем свысока.

Цену он себе знал, вернее, угадывал. Перепечатав очередное стихотворение, отрывался от машинки и, блестящая глазками, размышлял вслух:

— Конечно, Есенин из меня не получится. И Баратынский — тоже. А вот статья бы таким поэтом, как Никитин или Плещеев! Хорошие ведь поэты, правда? Русские поэты настоящие, правда же?

И мечтательно улыбался. Я по молодости лет предрекал ему, что в отечественной поэзии он будет стоять выше Плещеева с Никитиным. И до сих пор не знаю, так ли уж был не прав.

О неприятной и нескладной жизни Рубцова написано немало и с сочувствием. Его сиротское, детдомовское, корабельное, а потом и почти до конца жизни сплошь общепитское житье-бытье даже сегодня, при полной ненужности поэтов обществу, выглядит страшным. Но на моей памяти никаких подачек он ни от кого не просил и права не качал. Разве что «стрелял» пятерку-другую по-студенчески.

Раз, дотла прожившись, мы ездили к Борису Слуцкому занимать червонец. Слуцкий как-то посетил семинарские занятия в институте и безошибочно отметил стихи Рубцова. С тех пор был к нему благосклонен. Лишь однажды я видел, а точнее — слышал Николая плачущим навзрыд. Поздней ночью, вернувшись с очередных посиделок, он тихонько — в любом состоянии старался меня не булгачить — прокрался к своей кровати, рухнул на нее, поворочался и зарыдал в тощую подушку. Я оторопел и не шевелился. Вдруг он отчетливо произнес сквозь всхлипывания:

— Даже у Есенина никогда не было своего угла... — скрипнул зубами и вскоре затих.

Пили в литературной среде ничуть не больше, чем сейчас. И будь Рубцов рядовым поэтом, его гульба никого бы не трогала. Конечно, последние год-другой с ним стало тяжело в застолье. А так ведь и гулял он, бродяга, талантливо. Одна объяснительная записка чего стоит, в которой он объяснил ректору института свое непутевое поведение:

Быть может, я в гробу для Вас мерцаю.
Но заявляю Вам в конце концов:
Я, Николай Михайлович Рубцов,
Возможность трезвой жизни — отрицаю!

Пили мы по причине своих шагреневых карманов дешевые портвейны и простую водку. Причем Рубцов предпочитал вино, ибо его при любой складчине выходило больше. Иногда, бывало, не в настроении поглядывал на быстро рedeющую рать бутылок на столе, выбирал глазами кого-либо из компании и говорил:

— Тебе, Саша, пора спать. Ступай в свою комнату.

Изумленный поклонник, на чьи кровные зачастую и было закуплено вино, послушно удалялся. Снова

читались и пелись стихи, снова редели бутылки. Наступала очередь Бори, Васи, Пети, пока с последней посудиною не оставался сам-друг Николай Михайлович в обнимку.

Когда Рубцова наконец-то широко распечатали, деньгами он особенно не сорил. Видно, сказывалась детдомовская привычка. Но в неожиданных обстоятельствах любил шикануть. Как-то поздней ночью мы с рязанским поэтом Борей Шишаевым провожали его в Вологду. Растроганный Рубцов купил две бутылки шампанского, благодушно повелев нам отыскать стакан. Посудой в те времена на вокзалах не баловали — мы вернулись с пустыми руками.

— Вот салаги! — удивился Коля. — На что вы годитесь без старого моряка?

Выудил из величественной мусорной урны открытую консервную банку с рваными краями, небрежно сполоснул ее шампанским. И мы, давась от смеха и боясь порезаться, выпили на перроне сначала «на посошок», а потом «стремянную» и «закурганную»!

Последний раз я встретился с ним осенью семидесятого года. Как всегда, по приезде в Москву он остановился в родном общежитии, хотя диплом давно защитил с отличием. На этот раз ему выделили отдельную комнату в угловом уютном «сапожке». В то время у заочников шла экзаменационная сессия, общежитие гудело, как растревоженный улей. Прославленного Рубцова позвали пировать к себе заочницы. Он пригласил меня с собой, поскольку не любил бывать один в женском окружении. Тем более что спервоначалу приходил трезвым. На сей раз я мараковал над рукописью и скрепя сердце отказался. Николай презрительно махнул на меня рукой и отправился на женский этаж.

Про женщин в его жизни я не знаю ровно ничего. Он нежно вспоминал свою далекую дочурку, печаль-

но напевал про нее свою чудесную «Прощальную песню», но о ее матери при мне не обмолвился ни словом. Равнодушно наблюдал за нашими скоротечными студенческими романами, чуть, казалось, брезгливо относясь к оголтелым поэтессам. Женщинам того круга, где он вращался все эти годы, душа была не нужна, несмотря на их рифмованные и прозаические заклинания. А кроме души, да и то — потаенной, глубоко колодезной, у него ничего не имелось. Поэтому из-за своего самолюбия он поневоле держался с ними заносчиво, а на деле — застенчиво и уязвленно.

Валентин Солоухин

Я — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДКОМА

На втором курсе института меня избрали председателем студкома. Под мою ответственность попадали громоздкий магнитофон, несколько катушек пленки и неисправная пишущая машинка «Москва». В беседе со мной ректор института И.Н. Серегин обратил внимание на промахи и недоработки бывшего председателя студкома, тактично намекнув на заинтересованное распределение студкомовских пятисот рублей, которые выделял институт на помощь нуждающимся студентам.

Первые мои действия были направлены на то, чтобы отремонтировать пишущую машинку. Добыв отвертку, я принялся за ремонт. Неисправность удалось устранить, и мы принялись за оформление студкомовской газеты, попутно готовясь к первому распределению пособия.

Кто-то из старшекурсников подвел ко мне щуплого, темноглазого паренька:

— Это Николай Рубцов. Надо поддержать, на одну стипендию живет.

Стипендия у нас в то время была 22 рубля.

— Пиши заявление.

— А к-как? — дернул он плечами и смущенно улыбнулся.

— На студком: прошу...

— В прозе или стихах? — перебил он меня.

— Валяй гекзаметром, — принял я шутку.

Вечером в общежитие он принес мне заявление на целую страницу, написанное действительно гекзаметром. У меня в комнате как раз находился П. Мелехин, который положил на стол заявление в одну строчку: «Прошу оказать материальную помощь в сумме 25 рублей». Покосившись на заявление Рубцова, он сказал:

— За тридцать строк и всего двадцать рублей... Эх ты, бездарь!

Коля тут же взял чистый лист бумаги и написал: «Нуждаюсь в 35 рублях». Положил на стол и, забрав первое заявление, ушел.

— С нашего курса, — сказал Мелехин.

После этого случая я запомнил Николая. Как-то Ольга Фокина рассказывала об интересном семинаре, на котором проходило обсуждение стихов Рубцова, и даже посоветовала мне сходить послушать, когда в очередной раз будут обсуждать ее земляка.

С пятого этажа меня перевели в угловую — 64-ю комнату на третий этаж. Вечером ко мне зашел Рубцов за чайником.

— Или на кухне забыл, или умыкнул кто, — сказал он о своем чайнике.

— В случае если забудешь вернуть, в каком «районе» тебя выслеживать?

— Рядом комната 63. Но у меня есть стаканы, чайная ложка. Понадобится — выручу. Пусть чайник пока будет на двоих.

— Пусть будет, но ты все-таки не забывай, что я — хозяин.

— Владелец, — уточнил он.

Творческий семинар у меня был во второй половине дня. Рубцов уехал в институт с утра. Вспомнив об этом, я пожалел, что вечером не взял чайник. На ключ-

ке бумаги написал записочку и решил оставить в замочной скважине. Но стоило прикоснуться к двери, как она распахнулась. На столе стоял мой чайник.

Вечером зашел Николай, горько посетовал:

— Чайник пропал... — но, заметив рядом его, облегченно вздохнул: — Фу-ты, а я подумал — увели.

— Чего комнату не закрываешь?

— Закрывать нечего, — усмехнулся Николай, — да и от кого...

Вначале я думал, он шутит, но со временем убедился, что не было у Рубцова привычки закрывать комнату на ключ. Во время заезда заочников многие этим пользовались. Николай заявлялся с лекций, а в комнате дым стоял коромыслом — шел поэтический диспут. Был такой случай, когда непрошенные гости выставили его за дверь. Коля пришел ко мне за помощью. Компания подобралась из дюжих парней, и нам стоило приложить немало усилий, прежде чем мы восстановили «статус» законного владельца.

Признав хозяина, заочники собрались уходить. И вдруг Рубцов предложил всем остаться. Чтение стихов продолжалось. Николай выслушал присутствующих и в наступившей тишине прочел свои. За короткое время среди незнакомых людей он был уже свой в доску. Вначале в случайных компаниях Рубцов больше читал стихи из флотского цикла...

После отъезда заочников в общежитии наступила относительная тишина. Николай чаще ходил за чайником. Случалось, мы с ним чаевничали. Он вприщур посматривал на пишущую машинку и однажды спросил:

— А бумага у тебя есть?

— Немного есть.

— Мне нужна пачка.

— Если нужна, добуду.

Вечером я передал Николаю бумагу.

— Ну а машинку дашь? — спросил он.

— Никак рецензировать пристроился?

— Ну, этим я заниматься не собираюсь. Хочу отпечатать книжку своих стихов.

К тому времени я уже знал товарищей, которые вели разговоры о рукописных сборниках, изданных книгах, на деле не существующих.

— Так уж и книжку?

Рубцов не обратил внимания на мою реплику, лишь добавив:

— Подготовлю в архангельское издательство, летом еще одну отдам в столичное. Уже договорился.

— Машинку не дам, — сказал я твердо.

Николай вначале растерянно посмотрел на меня, не ожидая отказа, но через мгновение глаза его заблестели.

— Машинка студкомовская, а ты даже ключа от комнаты не имеешь. Уведут машинку, как чайник.

— Да есть ключ, — заторопился Николай и метнулся в свою комнату.

Я слышал, как хлопали створчатые дверцы шкафа, скрипели выдвигаемые ящики письменного стола, шелестела бумага. Наконец Коля появился с каким-то ржавым ключом:

— Вот, нашел!

— Теперь бери агрегат.

Через несколько минут он уже стучал, работая всю ночь. Печатал он медленно, с большими паузами, как потом сам сказал, почти каждое стихотворение правил на ходу. Только утром на какое-то время стук затих, а как только проснулось общежитие, машинка застучала снова.

В тот день на лекциях Рубцова не было. На следующий — тоже. Я как раз получил небольшой гонорар из орловской молодежной газеты. Вернувшись из магази-

на, услышал знакомый стук и заглянул в комнату. Вместо Рубцова за машинкой при свете настольной лампы сидел какой-то крупный рыжеволосый человек.

— А где Коля?

Незнакомец повернул на мой голос лицо, и я узнал Николая, который положил подушки на стул и восседал на них, подобрав под себя ноги.

— Кончай мучить машинку.

— Осталось всего два стихотворения. Добиваю их и — точка.

— Ставлю чайник, приходи, угощу кипяточком.

— Времени сколько? Магазины уже, наверно, закрылись. У тебя хоть есть хлеб?

— Есть, заходи.

Меняя позу, он встал на колени и тут же еще раз обратил внимание на свою желто-рыжую голову.

— Что это у тебя с ней?

— А-а... — Он усмехнулся. — Знаешь, добыл флакон духов для отращивания волос. Экспериментирую... — с иронией пояснил он.

С машинкой он принес отпечатанную рукопись и попросил ее посмотреть. В то время я рецензировал в отделе поэзии журнала «Молодая гвардия». Отобрав двенадцать стихотворений, решил показать их. Рубцов согласился. Хочу заметить, что в прочитанной рукописи были почти все стихи, вошедшие в московский сборник «Звезда полей».

В. Цыбин, заведующий отделом, находился в отъезде. Подборку на первых порах одобрил один из членов редколлегии и пригласил автора для знакомства. Я передал это Рубцову. Николай ходил знакомиться без меня. Вернулся огорченный. Позже в одном из номеров журнала в разделе «Товарищ» были напечатаны два стихотворения. В день выплаты гонорара в широко распахнутые двери явился Николай:

— Пошли обедать в ресторан! Я получил приличную сумму!

Он стоял в распахнутом поношенном пальто, стоптанных туфлях.

— Хочешь сделать мне приятное? — перебил я его. — Так купи хотя бы обновку.

— Да-а, — сощурился он. — Уже падают люстры!

За покупками он ездил в «Детский мир». На полученный молодогвардейский гонорар приобрел себе валенки (размер обуви у Николая был небольшой), куклу и очень красивый флакон душистого «снадобья» для восстановления волос.

— Дорого? — спросил я, взяв флакон.

— Дешевле шапки. Отрастет шевелюра — поймешь выгоду.

Общежитие бурлило — на каждом курсе свои лидеры. Для утверждения было достаточно несколько приличных стихотворений, иногда — щедрого угощения. Возгласы «талантливо!», «гениально!» сыпались как из рога изобилия. Рубцов осматривался, прислушивался, посмеивался. Мерзликин, Лысцов, Передреев, Примеров — эти стояли не на пустом месте. О каждом из них у Николая было свое мнение, к их успехам появилась ревность. А тут еще мода на песни. Наладив магнитофон, я записал Новеллу Матвееву. Рубцов не мог не слышать, когда шла запись, — он как раз был в комнате. При встрече спросил:

— На высших литературных курсах бардша появилась? Как поет?

— У меня есть запись. Хочешь послушать?

— Ага... А меня запишешь? Есть две песни — «В горнице» и «Сумасшедшие листья».

— Хоть сейчас.

— Гитары нет, достану — приду.

Поговорили и забыли. Появилась подборка стихов Рубцова в «Юности», затем — в «Октябре». Он рассказывал, как его встретил Дмитрий Стариков, с восторгом отзывался о критике Кожинове, читал экспромты, которые выдавал в литературных кругах.

«Рубцов входит в тираж... Мадам, уже падают люстры!» — его выражение. Все реже и реже я видел Николая одного.

— Рубцов, в таком тираже тебя надолго не хватит.

— Ты лучше скажи, когда придешь с гитарой? Есть новые песни.

Два раза он приходил с гитарой, печальный и расстроенный. И вдруг оживал, рассказывая о знакомой студентке медицинского института. Однажды на «чайник» он пришел с девушкой. Читал новые стихи. В этот вечер я поверил в его счастливую судьбу.

Анатолий Азовский

ЯНВАРСКАЯ ЗЕМЛЯНИКА

Беру с полки заветную книжицу «Звезда полей». Действительно — звезда. И не только — полей! На титульном листе надпись: «Дорогому другу Толе Азовскому от Николая Рубцова». И дата 2 июня 1967 года. Нет, познакомился я с ним немного раньше, и сначала — с его стихами. Что сказать о первом знакомстве? Где-то я читал о Есенине, что когда появились в печати его стихи, то любители поэзии набросились на них, «как на свежую землянику в январе». Вот такой «земляникой» показались мне и стихи Николая Рубцова при первом знакомстве с ними. А было это в середине шестидесятых. Жил я тогда в Свердловске, где, как, вероятно, и по всей стране того времени, было слишком много шума вокруг так называемой эстрадной поэзии. Конкурировало тогда с этим направлением в нашей изящной словесности еще одно — интеллектуальная поэзия.

Что говорить, шуму тогда было много. Особенно — среди молодых поэтов. На наших литературных четвергах за огромным круглым столом библиотеки свердловского Дома работников искусств спорили до хрипоты, а то и чуть не до кулаков дело доходило: каждый отстаивал свою точку зрения, каждый пророческой убежденностью указывал, как писать надо. Большинство евтушенко-вознесенско-рождественского направ-

ления жаркими сторонниками были, другие — винокуро-тарковскую поэзию на щит поднимали, третьи пели в кулуарах что-то книжно-романтическое из Новеллы Матвеевой.

И вот как-то после очередного «четвергования» вышли мы с Юрием Трейстером на воздух освежиться немножко от жарких баталий. Вдруг Юрий сказал:

— Спорим, спорим... А может, так писать надо? — И тихо, но очень выразительно прочитал:

В горнице моей светло.
Это — от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Меня будто током пробило. Так неожиданно, так до мороза по коже прозвучали эти бесхитростные строки.

— Чьи это? Неужели твои?

— Да что ты! Это — Николай Рубцов. В последнем номере «Юности».

Немногих тогда еще захватила эта рубцовская «земляника», но сторонники сразу же нашлись. И жаркие! В том числе — я. А вот после публикации в «Октябре» имя Николая Рубцова уже твердо вошло в наши горячечные споры. Тогда открыли мы и Владимира Соколова, и Бориса Примерова, и Анатолия Передреева, и многих других поэтов, на которых раньше и внимания не обращали.

Лично же с Николаем Рубцовым я познакомился года через два в буйных стенах общежития Литинститута. Случилось так, что сессии нашего курса заочного отделения и четвертого, на котором учился Николай, проходили одновременно. Студенты-заочники держались тогда в отношениях с братьями-очниками довольно воинственно и настырно, стараясь во всем их перехлестнуть. Разве только с некоторыми дружили.

Для меня близким из этих «некоторых» был Саша Петров, земляк-уралец. Сошлись мы с ним из-за одинакового отношения к поэзии Рубцова. И вот однажды Саша говорит:

— Хочешь с Рубцовым познакомиться? Лично! — На последнее слово он специально нажал.

Я долго смотрел на его цыганскую шевелюру и нерешительно молчал. В голове переталкивались недоверчивые мысли: разыгрываешь, мол, землячок? Так я и без розыгрыша согласен.

— Да ты что, не понял, о ком говорю?

— Да ладно тебе, — все еще не верил я.

А надо сказать, что у Рубцова тогда только-только вышла в свет «Звезда полей», сразу же очень крепко потряхнувшая тогдашний поэтический мир, и автор ее для меня, опубликовавшего к тому времени лишь куцую подборку в журнале «Урал» да несколько стихотворений в свердловской прессе, казался недосягаемым. Мне как-то не верилось, что Рубцов — мой современник, что с ним можно, как Саша сказал, познакомиться лично, что и он учится у тех же профессоров, что и я. Убедившись наконец, что Саша не врет, я заволновался:

— А удобно ли? А не пошлет ли он подальше?

— Да что ты, Николай — простецкий парень. Я тут вот (а стояли мы в общежитском коридоре, возле кухни) картошечку в мундирах сообразил. Так что и порубаем с ним вместе.

— Ну уж нет. На готовенькое я не согласен. Ты пока доваривай картошку, а я мигом в магазин сбегаяю. Знакомиться, так уж по-русски.

«Звезды полей» к тому времени у меня еще не было — нигде не мог купить. А тут... Выскакиваю из общаги, и только направо к магазину повернул, как навстречу от троллейбусной остановки — Юрка Конеч-

кий, еще один дружок из Свердловска. Здравуюсь, а в руках у него — рубцовская книжка. Читал, видимо, в троллейбусе.

— Ты иди в нашу комнату! Лишь у вахты не задерживайся, будто и ты — свой. А я сейчас в магазин сбегую. Отметим твой приезд. — У Юрки аж глаза заблестели от такого гостеприимства. — Это у тебя что, Рубцов? Дай-ка. Пока в очереди за бутылкой стою, посмотрю ее.

Милый Юрка от предвкушения застолья и Рубцова не пожалел!

В свою комнату я конечно же не спешил, со свертками отправляясь к Саше на кухню. В комнате, куда мы вошли, Рубцов сидел один. Сплошными, как без зрачков, черными глазами. Николай скользнул по мне, по сверткам, торчащим из-под каждой руки, и вопросительно уставился на Петрова.

— Вот знакомься. — Саша поставил прихваченную довольно грязным полотенцем, исходящую паром кастрюлю. — Толик Азовский, мой земляк. На втором курсе учится. Свой парень.

Николай встал и подал мне маленькую руку крепкой кости, просто сказав:

— Рубцов. — Потом, вероятно почувствовав, что фамилия прозвучала не к месту, помягче добавил: — Николай.

— Знаю, — задето буркнул я и, почему-то сразу перейдя на ты, пояснил: — Давно за тобой слежу. И в «Юности», и в «Октябре». Даже книгу твою раздобыл. — Я произвольно хлопнул по карману пиджака.

— А ну-ка дай. — В голосе Рубцова прозвучало резковатое нетерпение.

Я протянул «Звезду полей» и... просто опешил. Николай резко, одним движением, вытряхнул книгу из суперобложки и довольно зло разорвал ее на мелкие ку-

сочки. Я выхватил у него оголенную книгу и быстро засунул обратно в карман, подумав, что ее ждет та же участь. В Литинституте все бывает.

— Не бойся, не изорву, — успокаивающе усмехнулся Рубцов, видя, с какой торопливостью я застегиваю карман на пуговку. — Рисунок на обложке просто ужас. Вот я по мере сил и борюсь с ним.

Николай вдруг стал смеяться до того звонко, что не поддержать его было просто невозможно. А рисунок тот был действительно не блестящим. Своим кубистско-абстрактным нагромождением деталей он ну никак не выражал такой простой русской книги.

Сели за стол. Николай оказался не очень разговорчивым собеседником, больше гмыканьем поддерживая наш с Сашкой треп. Но на анекдоты, особенно если они не слишком заумные, реагировал всегда безотказно своим колокольчиковым смехом. И можно бы сказать, что ужин проходил вполне задушевно, если бы я, увлекаясь иногда своей болтовней, не замечал на себе его серьезный, оценивающий взгляд. Как я убедился потом, болтунов, особенно «дюже ученых», он терпеть не мог.

Помню, при одном застолье, довольно обширном во всех отношениях, возник такой «научный» разговор о нашей родной литературе, такие мудреные словечки блистали в нем, что без толкового словаря не сразу все поймешь. Особенно один наглаженный товарищ старался. Уж так своей эрудицией сыпал, что никому и слова сказать не давал. Да и где ж еще мог высказать свои умные мысли? Печатать его интеллектуальную поэзию почему-то не спешили, а выразиться, просветить кого-то (хоть бы нас, темных) ему очень хотелось. Не зря же еще до Литинститута вуз кончил! Вот и распускал перед нами перышки всех цветов. А Николай слушал, слушал примерно час, да как вдруг выдал какой-то монолог ми-

нут на пять, состоящий из одних философских терминов, что отглаженный товарищ аж привял у нас на глазах, совсем серым стал.

Летели годы... Много было в них, но почти на всех сессиях я встречался с Николаем Рубцовым. Одно время даже в одной комнате жили. И был он совсем не таким, каким представляют его сейчас во многих воспоминаниях: де мрачный и сложный был... Мне кажется, более простого человека в общезжитии и не было тогда. Случалось, конечно, при нашей-то шумной жизни, и с ним иногда, ну да с кем не бывает... А вообще с людьми малознакомыми он держался осторожно и чаще всего — замкнуто. Но уж если принимал кого за своего, то у него и мыслей о какой-то «загадочной личности» возникнуть не могло. Просто умел он избегать разговоров о себе и прошлой жизни. Но ведь и он живой человек, из которого кое-что «выковырнуть» можно было. Помню, рассказал ему однажды, как с его стихами познакомился. И попросил припомнить, где и как написал стихотворение «В горнице». Его высокий смугловатый лоб сразу посветлел, сплошные черные глаза потеплели.

— В лесу грибы собирал. Рыжиков тогда много было. Целый короб набрал и присел покурить. Сижу, думаю о разном. На душе грустно и хорошо. Маму вспомнил. Лицо ее совсем забыл, но вот кажется все, что оно грустным и светлым у нее было. Тут и слова пришли...

Надо признаться, что о грибах мы толковать могли бесконечно. Как начнем про грузди, обабки, рыжики, синявки, — другие из комнаты уходили: слюнки текли. Приходилось иногда кое-что даже изменять в родных местах. У нас, в бажовских, полевских лесах, никогда рыжиков много не водилось, а в рассказах я их иногда ведрами домой приносил. Ну, да кто уж в таких делах без греха...

Видел я Николая и в порыве творческой радости. Заскакивает как-то в комнату и аж сияет весь.

— Слушай, я экспромт сочинил, пока в троллейбусе ехал! — закричал он прямо с порога. — «Я уплыву на пароходе, потом поеду на подводе»...

Не можем мы, пишушие, чутко-осторожными друг к другу быть. Если что не по тебе, надо сразу же правду-матку высказать. Да погорячее, чтобы «дошло». Вот и я тогда... Еще не утихло радостное, стосковавшееся «И буду жить в своем народе!», а я уже с замечанием:

— Что это у тебя за строка «Потом еще на чем-то вроде»? Для рифмы, что ли?

Радостное возбуждение у Николая сразу на убыль пошло. Смотрит на меня своими сплошными глазами: что, мол, тут непонятного? А затем тихо так говорит:

— Да как ты не поймешь? Я ведь не знаю сейчас, что там за оказия мне подвернется.

Помню Николая и беззащитно-грустным. Как-то после окончания сессии собирался я домой. Николай почему-то не торопился в свою Вологду. Сидим вдвоем, не спеша «посошок» потягиваем. Грустно было. Под настроение я и пожаловался, что дома не все у меня ладно: жена болеет, квартиры своей нет... Николай сочувственно помалкивал. Потом тяжело вздохнул:

— Ничего. Обойдется. У тебя хоть какой-то, да все же тыл есть. Ждут тебя. А у меня и того нет — как говорится, ни дома, ни лома. Ехать бы вот надо, а к кому, кто ждет? По друзьям все мотаюсь. Надоед, поди, всем до чертиков...

Как резанули меня эти слова... Впервые слышал от него такое откровение. Никогда не жаловался он на свое житье-бытье. Захотелось как-то помочь ему, забрав с собой. А — куда? Сам у тещи на гнилых зубах жил, языком ее неласковым прикрывался.

О том, как читал Николай Рубцов свои стихи, написано много. Не стоит повторяться. Действительно, это было какое-то «действие». Скажу только, что когда он увлекался чтением, то терпеть не мог, чтобы ему хоть чем-то мешали. Резким и злым тогда становился. Мог и запустить чем-нибудь в мешавшего, а то и просто прогнать всех слушателей к чертям.

В последний раз я видел Николая радостным — сдал госэкзамены! Выскочил из двери, за которой сидела комиссия, и, как мальчишка, во всю глотку заголосил «ура»! Всех встречных и поперечных обнимал. Да и как было не радоваться, если он из всего своего рода первым высшее образование получил!

Николай Аладьин

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Первая книга Николая Рубцова явила нам поэта зрелого и определившегося. Не по части версификаций, нет. Строгий ревнитель тут мог бы упрекнуть автора в нередких стиховых небрежностях, в строчках-цитатах, возвращающих нас к Есенину, Блоку. Речь о другом: о сложившемся круге интересов, по-разному близких и кровных поэту. Видно, ему не пришлось искать себя, что частенько чуть ли не в обязанность вменяется молодому автору.

Впрочем, несмотря на короткую жизненную биографию, Рубцова как-то не с руки называть молодым. Потому что в стихах, если говорить о лучших, он проникновенно и свято размышляет о самом главном: о России, родине и русском человеке на своей земле.

У Рубцова ощущаешь способность поэта истинного: от какой ни на есть жизненной милости, памятного эпизода вдруг возноситься до широкого и, что очень важно, оправданного обобщения. И то малое, что тревожило только его душу, заставляет и наши сердца биться в унисон с его сердцем. Память о родной деревне становится мыслью о России, напряженным раздумьем о поисках духовности...

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность!
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

И быстро, как ласточка, мчался я в новом костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке.
А мимо неслись в торопливом немолкнувшем шуме
Бурливые воды, и бревна неслись по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Откуда рождается это впечатление света и величия?
Ведь что греха таить, как часто наши стихотворцы, пи-
шущие о родине, впадают в суесловие и пустое громы-
хание. Очевидно, простого хотения высказаться тут
еще крайне мало. Именно мысль о родине ведет Рубцо-
ва к глубокому источнику лиризма. Не о том ли гово-
рил Гоголь в письме к В. Жуковскому: «Россия... При
одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у
нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, все
становится у него шире, и он сам как бы облекается ве-

личием, становится выше обыкновенного человека. Это что-то большее, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Это — богатырски-трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России». В моментальной фотографии родного пейзажа у Рубцова, точно в столбе света, возникает обобщенный образ России, где слились воедино ее вчера, сегодня и завтра. Таковы его стихи «Видения на холме», «Звезда полей», «Старая дорога», «Над вечным покоем».

Силу и уверенность поэту придает крепкое ощущение корня. Он — не перекасти-поле, хоть и носит судьба по разным городам и весям. Есть место отчич и дедич, и оно — свято. А свято место, как известно, пусто не бывает. Это не просто прах его предков на погосте. Это — тот край, где они надышали тепла, оставив толику уюта.

И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть,
И обнимать ромашки, умирая...

Когда почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный свято погребен
В такой же белой горестной рубашке...

Если еще лет сорок назад многим казалось, что мучившая Есенина проблема взаимоотношений города и деревни стала уже пресловутой, быльем поросла, то ныне зоркий взгляд поэта показывает близорукость и поспешность подобного утверждения, усматривает всю сложность ее разрешения:

Ах, город село таранит!
Ах, что-то идет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом.

В этом пристальном внимании к жизни русской деревни Николай Рубцов, понятно, не одинок. И совсем не случайно, что одно из лучших стихотворений в книге — «Тихая моя родина» — посвящено Василию Белову, автору повести «Привычное дело». Потому что разве не единокровным братом беловского Ивана Африкановича глядится добрый Филя, что живет и трудится в российской глубинке. Неприхотливый, добрый Филя с его неизбывным терпением и бесконечным трудолюбием — это один из тех, кто не просто кормит, а духовно держит Россию.

Пейзажные зарисовки, картинки природы у Рубцова — лишь отправная точка для размышлений. В стихотворениях «На Сухоне», «Журавли», «Улетели листья», «Утро», «Ночь на перевозе», «В святой обители природы» поэт стремится к обобщениям уже подчас философского толка.

У нас в критике незаметно сложилось представление, что «поэт мыслящий», пишущий «интеллектуальные стихи», непременно должен быть ультрасовременным по своей лексике, образному строю, обязательно должен насыщать строки понятиями, заимствованными из сегодняшней науки и техники. Но так ли уж проста «простая» поэзия, текущая в спокойных берегах высоких традиций Тютчева и Блока? Я вовсе не склонен до времени по первой книжке преувеличивать достоинства рубцовских стихов. И не только о них речь. Ведь разве откажешь в интеллигентности (истинной, а не инвентарной, показной) таким стихам Рубцова, как «Прощальный костер»:

Хотя доносятся уже
Сигналы старости грядущей,
Надежды, скрытые в душе,
Светло восходят в день цветущий.

Душа свои не помнит годы,
Так по-младенчески чиста,
Как говорящие уста
Нас окружающей природы...

Не слово ведет за собой поэта, заставляя проявлять чудеса стиховой вольтижировки, а — мысль, которая принуждает прежде всего постараться, чтобы не замутировать излишеством слов смысл сказанного.

Первая книга поэта — всегда не только первые итоги, но еще и обещание чего-то большего: роста и нового возмужания, преодоления ученического подражательства или внешнего, неорганичного для себя. В сборнике «Звезда полей» есть стихи и не очень убеждающие. Мне, к примеру, смутными показались беглые зарисовки обликов Тютчева и Гоголя: «Приезд Тютчева», «Однажды».

Явно уступают «деревенским» произведениям листки из стихотворного дневника, рассказывающего о «морской странице биографии поэта» («Я весь в мазуте, весь в тавоте», «Старпомы ждут своих матросов», «Мечты», «Шторм» и т. д.). Тут ценность и органичность деревенских стихов молодого поэта оборачивается уже тематическим однообразием, перепевами себя внутри одной книжки. Впечатление ослабляется повторами и длиннотами. Стремясь к простому и ясному слову, автор порой оступает в поэтическую банальность.

Зато песнь о России, звучащая в лучших стихах Рубцова, привлекает первородством интонации, жизнотворностью тем, чистотой мелодий. Пусть он идет от чистого родничка — от родины, деревни Николы и речки Сухоны. Ведь кто знает: мать России целой — деревушка. Может быть, вот этот уголок.

Дружба народов. 1968. № 4.

Виктор Астафьев

ЗАТЕСЬ О НИКОЛАЕ РУБЦОВЕ

В России почти всегда посмертная судьба поэта удачливей прижизненной. Не был исключением и Николай Рубцов. Я не стал бы очень уж мрачно расписывать его судьбу. Во многом она творится обладателем именно этой и никакой другой жизни и еще перстом откуда-то. Привычно скажем, свыше указующим. Рубцов по-своему любил свою жизнь, себя в ней любил. Но, как истинно русский человек, несколько пренебрежительно, иногда наплевательски к ней относился.

Но не об этом сейчас речь, что со вздохом сказано во многих рассуждениях опять же российского порядка. Этот горестный вздох облечен в насущный вопрос: сколько же погибло вместе с поэтом строк и стихов? Могу сказать с твердым убеждением: много, очень много. Даровитейший российский поэт Николай Рубцов не реализовал себя и наполовину. Свидетелем одного погибшего стихотворения, начальных его, совершенно изумительных строк, был и я...

Когда я с семьей переехал в Вологду, на вокзале нас встретила довольно большая и громкая бригада писателей. Николай Михайлович стоял чуть в стороне. Глаза его приветливо искрились, в левом углу рта присутствовала затаенная, хитроватая улыбка, с которой лежать ему доведется и в раннем трагическом гробу.

Марья Семеновна сама подошла к нему, я — следом. Он сказал коротко: «Рубцов» — и отчего-то сразу начал предлагать в подарок рукавички, связанные из овечьей шерсти. На тот час это, видимо, была самая свежая и любимая обновка Николая. И он, как дитя малое, хотел порадовать нас тем, что грело и радовало его самого. Мы сказали растроганно спасибо. Марья Семеновна уверила его, что сама умеет вязать. Взяв под руки поэта, мы пошли к машине. Скоро оказались в квартире-хрущевке, приготовленной для нас. Обмыли новоселье, сидя в основном на газетах, расстеленных на полу.

В назидание себе, вологодским ребятам, всем российским гулякам, то и дело погибающим иль нороящим поскорее сплавить себя на тот свет, расскажу маленькую историю обратного порядка. Был я в Москве, в Доме творчества Переделкино, и после спектакля, по приглашению Михаила Александровича Ульянова, угодил к нему в гости. Сам великий артист уже давно не принимал спиртного, угощать же, как истинный хлебосольный сибиряк, страсть любил. С горя или печалей я никогда не искал утешений в вине, но ради друга, в компании дружеской мог набраться и до потери контроля. Наклюкался я у Михаила Александровича. Ночь поздняя, я в Переделкино на такси ехать собираюсь. Но хозяин говорит, что сам отвезет меня. Я толкую, что площадь Пушкина рядом, там стоянка такси. И я, так сказать, своим ходом... Но Михаил Александрович — ни в какую. Усадил меня в обшарпанный жигуленок и помчал по пустынным улицам столицы. Не только довез меня до жилого корпуса, но и следил из машины до тех пор, пока я не открыл входную дверь и не помахал ему рукой. Должно быть, много на своем творческом и житейском веку пережил человек российских трагедий, вот и не хотел, чтобы

случилась еще одна. К сожалению, в России всегда был недостаток таких людей — истинных интеллигентов и патриотов. Дыру в телом полотне нашей культуры залатать не скоро удастся. Может, и вообще не удастся при том одичании, которым сейчас охвачен народ.

Улучив момент, я дома спросил Коротаева, как стихотворение у Коли, пишется ли?

— Да откуда мне знать? Он же их в уме слагает и, как говорит, потом записывает столбиком.

— А четверостишие начальное не помнишь?

— Не помню. А ты?

— И я не...

— Вот, т-твою-раствую! Но не бойсь. Все сделает на высшем уровне. Уж больно зачин хорош...

Жизнь закрутила меня — заканчивал, а потом редактировал «Царь-рыбу», вымотался, заболел и, когда пришел в себя, поинтересовался у Коли, как дела с тем кубенским стихотворением? А он:

— Во мне их роится тьма!

Пьяненьким был, бахвалился, чего трезвый никогда себе не позволял, бывал до застенчивости трогательно скромн, когда сочинялось и работалось, нежным, податливым становился, норовил к родственной душе прилепиться, чтобы послушали его, похвалили, обогрели ответной нежностью и любовью.

Еще и еще ловил я поэта с надоедным вопросом. К Коротаеву приставал: напомни дружку о Кубени, помоги ему творчески восстать и написать то, «наше», стихотворение. Да куда там! И этот гулять горазд, свататься, жениться начал. Медовый месяц приспел.

После гибели Николая Михайловича ни в записях, ни в полупустом чемодане, ни в бумагах не нашлось слышанного нами зачина. Ах, молодость, молодость —

звезда падучая. Поэтическая судьба — того падучей. И сколько же с судьбы той, будто с осеннего, нарядного древа, опадает листьев, сколько их кружит и уносит без следа шалым, слепым, жалости не знающим российским ветром?.. Кто сочтет...

Не сразу, постепенно поэзия Николая Рубцова входила в каждый местный дом, и прежде всего — в дома вологодских литераторов. Для того чтоб войти ей в большой дом России, надо было поэту умереть. Обычное для нас дело.

В литературных вологодских кругах у каждого появилось «свое» рубцовское стихотворение. Чтобы не внести путаницы, не буду перечислять, кто и что рубцовское читал, но я до сих пор чту «Вечерние стихи», а Марья Семеновна своим небогатырским голосишком пела: «Отцветет да поспеет на болоте морошка, вот и кончится лето, мой друг...» И у нее славно, прочувствованно получалось именно это творение.

Николай Михайлович среди других иногда читал стихотворение, еще без названия, о вечере, о Вологде-реке. Пока еще оно «плавало». В нем не было наполненности чувством, вроде как стержень отсутствовал. Однако поэт не отставал от этого произведения — прикипело к нему. И однажды громко, почти с восторгом, сияя своими смородиновыми глазами, он прочел законченное поэтическое создание:

Когда в окно осенний ветер свищет
И вносит в жизнь смиренность и тоску, —
Не усидеть мне в собственном жилище,
Где в час такой меня никто не ищет, —
Я уплыву за Вологду-реку!

Перевезет меня дощатый катер
С таким родным на мачте огоньком!
Перевезет меня к блондинке Кате,
С которой я пожалуй что некстати,
Так много лет — не больше, чем знаком.

Она спокойно служит в ресторане,
В котором дело так заведено,
Что на окне стоят цветы герани,
И редко здесь бывает голос брани,
И подают кадуйское вино.

Смотрю в окно и вслушиваюсь в звуки.
Но вот, явившись в светлой полосе,
Идут к столу, протягивают руки
Бог весть откуда взявшиеся други.
— Скучаешь?
— Нет! Присаживайтесь все...

Вдоль по мосткам несется листьев ворох, —
Видать в окно, и слышен ветра стон,
И слышен волн печальный шум и шорох.
И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.

Когда опять на мокрый дикий ветер
Выходим мы, подняв воротники,
Каким-то грустным таинством на свете
У темных волн, в фонарном тусклом свете
Пройдет прощанье наше у реки.

И снова я подумаю о Кате,
О том, что ближе буду с ней знаком,
О том, что это будет очень кстати.
И вновь меня домой увозит катер
С таким родным на мачте огоньком...

От самого Николая и вологодских ребят я узнаю причудливую, по-российски дурацкую историю сложения этого не только мною любимого стихотворения, но мною — в особенности. Распределив всех вологодских писателей, как оседлых, так и приезжих, по квартирам, руководство города решило пристроить под крышу и самого бесприютного, по городу скитающегося Рубцова. Комната с подселением досталась ему за Вологдой. Николай этому обстоятельству несказанно обрадовался: плавать, мол, буду по реке — и стихи рекой потекут. Ах судьба-злодейка и тут взяла поэта на излом, подсунув еще какое испытание! Соседом по квартире оказался инструктор обкома партии: этакий типичный выдви-

женец из низов в плотные партийные ряды. Колю, значит, ему сокквартирантом подкинули.

Расставил свои небогатые мебели и хрустали парт-деятель, похвальные грамоты приколотил, коврик, хоть и не персидский, повесил за шесть рублей из магазина «Уют». Уютненько так все получилось. И для полноты радости квартирновладелец, недавний обитатель отдаленного района, решил познакомиться с тем, кого ему дали в придачу. Слышал, что поэта. Правда, пока ничего у него не читал, и вообще на какую-то там поэзию у него не хватало времени. Да и стишки он еще со школы запоминал туго.

Поправил галстучек заречный новожитель и прямо в жилетке по-свойски отправился к поэту в гости. Тот пьяненький лежал на совершенно изувеченной раскладушке. В углу к стене была прислонена старая икона. На полу желтели две-три связки книг и возвышался стакан, явно «уведенный» из автомата с газировкой. Особенно бросалась в глаза большая, недопитая бутылка вина с криво прицепленной наклейкой с внушительным названием «Мицное».

Больше всего квартирновладельца поразило даже не поэт, а раскладушка, прогнутая почти до пола совсем внушительным телом. Половина, если не больше, пружинок из раскладушки были вырваны с мясом и болтались по бокам, при шевелении издавая скорбящий звон. Почтенному гостю и в голову не могло прийти, сколь грандиозную работу выдержала эта раскладушка, нещадно эксплуатируемая как самим ее обладателем, так и сладострастниками-гостями, по темпераменту с которыми, хотя они из северных народов происходят, сравниться могут разве что африканцы.

Гость робко представился поэту. Тот плеснул в стакан какой-то горючей смеси и, сказав: «Ваше здоровье!», хлопнул содержимое, не предложив, однако, гостю вы-

пить. В этих делах Коля был бит и натаскан: знал, кого надо угощать в расчете на ответ. От этого хмыря в галстук и жилетке с пуговками хрен чего дождешься, и не контактировать им в дальнейшей жизни.

— Как же вы так? — несмело начал свою проповедь гость. Ведь на то он и партдеятель, пусть и маленький, чтоб вразумлять людей, обучая правильно жить.

— Чего — как?

— Да вот не прибрались, не устроились, а уже новоселье справляете, — смягчил гость упрек.

— А твое какое дело? Я не новоселье справляю, не пьянствую, а думаю.

— О чем же?

— А вот думаю, как воссоединить учение Ленина и Христа, а ты, мудак, мне мешаешь.

Не сразу партдеятель пришел в себя после тирады поэта, заикаться начал:

— Да-да ка-ак вы можете? Я честный партийный работник, я...

— Запомни, рыло: честных партийных работников не бывает. Бывают только честные партийные дармоеды. И уходи отсюда на...

Разумеется, после такого диалога никакого милого соседства получиться не могло. Партийный ярыжка накатал на Рубцова жалобы во все инстанции, включая Союз писателей, с крутыми обвинениями соквартиранта в оскорблении партии, несоблюдении квартирного режима, словесной развязности, доходящей до нецензурных выражений.

Послание это в Союзе писателей было зачитано вслух, при скоплении народа нашим воеводой Романовым и осмеяно, и обмыто. Однако ж воевода наш сам был партиец. Его поволокли в самое красивое помещение города, где раньше размещалось Дворянское собрание, сделали соответствующее внушение.

Вернувшись из высокой партийной конторы с испорченным настроением, начальник писателей глянул строго на братию свою, хлопнул какой-то книжкой о стол и послал подвернувшееся под руку молодое дарование в магазин за вином. Народ был удален из творческого помещения. Поэт-бунтарь и отец наш, слуга творческого народа, остались наедине для конфиденциальной беседы. О чем они беседовали, ни тот ни другой нам не доложились.

Рубцов все реже стал наведываться в свою келью за рекой, снова превратился в бесприютного бродяжку, ночуя у друзей, знакомых бабенок. Бывал, редко, правда, в доме у начинающей поэтессы Нелли Старичковой, работавшей медсестрой в местной больнице. К ней Коля относился с уважением, может быть, со скрытой нежностью. Здесь его не корили, не бранили, чаем поили, маленько подкармливали, если был голоден. Но бывать часто у Нелли, живущей с мамой, он стеснялся. Загнанность, скованность, стеснительность от вольной или невольной обязанности перед людьми — болезнь или пожизненная ушибленность каждого детдомовца, коли он не совсем бревно и не до конца одичал в этой нелегкой жизни.

Недосыпал поэт, недоедал, обносился, чувствуя себя неполноценным, отчего становился ершистей, вредней. Гордыня же стихотворца непомерна, как верно кто-то заметил. Была у Рубцова любимая обитель для приюта — ресторан «Поплавок» на дебаркадере. Приют этот достоин некоторого внимания и пристального изображения.

Стоял дебаркадер на Вологде, ниже так называемой Золотухи. Эта канава, вырытая во времена Ивана Грозного при строительстве здешнего уютного кремля и Софийского собора. В Золотуху вологжане сваливали все, что можно. От берега к дебаркадере из прогибающихся

плах был сооружен широкий помост, поверх которого наброшены трапы. На корме дебаркадера кокетливо красовался деревянный нужник, который никогда не пустовал, потому как поблизости никаких сооружений общественной надобности не водилось. По набережной были набиты широкие щиты с запрещением купаться. В газете «Красный север» почти ежедневно печатались устрашающие статьи о вредности здешних вод. Но ничто не могло удержать мятежный вологодский люд от желания освежиться в водах родной реки.

Вот здесь-то, на втором этаже дебаркадера, и располагалась забегаловка, называемая рестораном. И занавески на окнах имелись, несколько гераней с густо насованными в горшки окурками. Горячее тут подавали и горячительное — то самое «кадуйское» вино.

Большой мистификатор был Рубцов, по-современному говоря, травила. В его сочинении «кадуйское вино» звучит как бургундское иль, на худой конец, кахетинское. А вино это варили в районном селе Кадуй еще с дореволюционных времен из калины, рябины и других ягод, растущих вокруг. Настаивали в больших деревянных чанах, которые после революции мылись или нет — никто не знал. Во всяком разе, когда однажды, за неимением ничего другого, я проглотил полстакана этого зелья, — оно остановилось под грудью и никак не проваливалось ниже. Брюхо мое, почечуй мой и весь мир противились, не воспринимая такой диковинной настойки.

Но главной примечательностью «Поплавка» была все же его хозяйка и распорядительница Нинка. Блекленькое, с детства заморенное существо с простоквашно-кислыми глазками, излучавшими злое превосходство и неприязнь ко всем обретающимся вокруг нее людям, она была упряма и настойчива в своем ответственном деле.

Из еды в «Поплавке» чаще всего подавали рассольник, напоминающий забортную жидкость Вологды, лепешку, называемую антрекотом, с горошком или щепоткой желтой капусты, сверху в виде плевка чем-то облитой, и мутно-розовый кисель с непромешанным крахмалом, в глуби напоминающим обрывки глистов. Вот на этом-то корме лютая воровка, изображая предельную честность, усердно сшибала в свою пользу довольно длинные рубли.

В это заведение и любил захаживать поэт Николай Михайлович Рубцов. Сидит себе за столиком, подремывает иль стихи слагает. Дебаркадер покачивает на волнах, сотворенных мимо пробегающими катерами. А когда и пароход плицами зашлепает, машиной запыхтит. Пароход еще старых времен и назван в унисон работе Рубцова именем «Шевченко».

Превратившись сызнова в бродяжку из-за того, что квартиродержатель за речкой не терял надежды перевоспитать соквартиранта в духе учений великого мыслителя Маркса и приблизить к идеям коммунизма, Коля все чаще ютился в ресторане «Поплавок». Переезжал он через реку на сооружении, напоминающем деревянное корыто, посреди которого торчала тонкая палочка с тусклой лампочкой.

Я жил недалеко от пристани. И всякий раз, когда доводилось провожать Колю за реку, на этом утлом суденышке, и огонек постепенно тускнел во мраке, исчезая в надмирном пространстве, мне хотелось отчего-то заплакать. Поэзия — дитя несказанное, рождаемое в муках, в озарении, мало кому ведомом, из чувств настолько необъяснимых, что смешно делается, когда люди на школьных уроках иль в длинных статьях и монографиях доступно, как им кажется, объясняют Пушкина, разбирают Лермонтова, постигают Державина, заодно и поэтов далеких вре-

мен — Данте, Петрарку, Байрона, Шелли, Петефи или Бернса.

Сам поэт объяснить не может, что тут к чему и откуда возникло. Примется тайну свою растолковывать, нагородит с три короба, сочинив что-то упрощенное, народу понятное, и чего ж тут учителку, даже многоначитанную, винить. У нее профессия такая: выявлять, доносить, разбирать...

И вот в один не очень погожий вечер, не сойдясь в идеях с соседом, Рубцов переплыл через Вологду и прилепился в «Поплавке» за угловым столиком, покрытым пятнистой тряпкой, именуемой скатертью, заказал себе винца, антрекот, а поскольку ножа тут не выдавали, поковырял, поковырял вилкой антрекот этот самый, да и засунул в рот целиком. Долго жевал и уже достиг той спелости, что он проскочил через горло в неприхотливое брюхо и осел там теплым комочком. Чтобы смягчить ободранное антрекотом горло, Коля налил еще стакашек и сопровождал закуску винцом, после чего облокотился на руку да и задремал умиротворенно.

Нинку ох как скребло по сердцу! Не могла она видеть и терпеть, чтоб во вверенном ей заведении спали за столом. Тут что, заезжий дом колхозника иль гостиница какая-нибудь? Бегала, фыркала, головой трясла Нинка, стул нарочно уронила — не реагирует клиент. И тогда кошкой подскочила к нему со словами: «Спать сюда пришел?» Дернула его за рукав, за руку, на которую поэт щечкой оперся. От редкого приятного сна на его ладонь высочилась сладкая детская слюна. От неожиданности и расслабленности Коля ткнулся носом в стол и мгновенно, не глядя, ударил острым локтем Нинку прямо под дых. Унижать много униженного бывшего подзаборника — занятие опрометчивое: по себе знаю. Похватав ртом воздух, Нинка огласила «Поплавок» визгом:

— О-о-о-ой, убили! О-о-ой, милиция!

Милиционеры чаще всего парюю дежурили на пристани, но на тот момент их на месте не оказалось. Народ все больше геологического вида, в плащах, и здешний люд, знавший Рубцова, начал заступаться за поэта, кое-как успокоив Нинку. Увели поклонники поэта за свой стол, угостили, попросили почитать стихи и сами почитали, дойдя аж до Пушкина и Вийона. Ну, может, и читали Пушкина, а Вийона — наверняка нет. Дивное, звучное имя загадочного поэта помнил и вставил в стих Рубцов для экзотики, чтобы знали в столицах, что мы, провинциалы, тоже кой-чего читали. Словом, все завершилось мирно и хорошо. Только Нинка перестала после этого вечера пускать в «Поплавок» ненавистного клиента.

Но бог с ней, этой бабой. Суть не в ней, а в том, что буквально через несколько дней Коля задорно читал нам замечательное, не побоюсь сказать, звездное стихотворение, которое я охотно процитировал раньше. Здесь он преподавал урок всем поэтам и читателям будущих времен — урок доброты, милосердия, сердечности. Поэзия не должна и не может быть злой, утвердил этим примером Николай Михайлович Рубцов.

Поглядите, каким грустным и ясным взором увидено здесь все, каким элегическим настроением, говоря старинным прекрасным слогом, овеяна каждая строка и все стихотворение в целом. И все в тон, все раздумчиво-складно звучит, льнет к сердцу и слуху. Простим поэту, что вместо злобной бабы Нинки трогательную Катю вставил. Это имя хорошо тут рифмуется со словом «катер». Возможно, он и любил это теплое имя. Ну, восславил бурдомагу, назвав ее вином, да еще и кадуйским. Ну, охваченный поэтическим восторгом, высветил тоску, бесприютность свою. Корыто отблагодарил и Вологду-реку восславил. И еще присо-

чинил высокое, в очередной раз пронзив сердце русское усталое и затверделое любовью к своей «тихой Родине».

Учитесь, соотечественники, у поэта Рубцова не проклинать жизнь, а облагораживать ее уже за то, что она вам подарена свыше, и живете вы на прекрасной русской земле, среди хорошо Богом задуманных людей. Я это говорю к тому, что в последние годы осатанение, охватившее Россию, проникло и в светлое окно поэзии. Слепленные злостью, люди пишут нескладные, лишенные чувства и нежности стихи, облаивающие все и всех.

И еще одна очень важная, отличительная особенность поэзии Рубцова. Когда он про себя писал «душа моя чиста» — это было истинной правдой, и белый лист его творений остался чистым. Как и всякий подзаборник-детдомовец, человек, послуживший на флоте, повкалывавший на советском производстве, побродивший по земле, пообретавшийся в общагах и всякого рода «творческих кругах», он конечно же основательно знал блатнятину, арестантский и воровской сленг, но никогда и нигде вы в его стихах не найдете и отзвука словесного поганства, этой коросты, ныне покрывшей русский язык и оголтелое наше общество — и в первую голову — разнузданную эстраду.

Блатнятиной пробавляются небритый, нарочито-неряшливый певец Шуфутинский, кумир молодежи Маша Распутина. Одно время она наладилась показывать публике свой кобылий зад. Отдал должное блатнятине Розенбаум и почти все эстрадные дивы. Популярные ансамбли, голося на иностранный манер, волокут на публику тюремный срам, жеребятину или привлекают слушателя обезьяньими ужимками, раздеваясь на глазах многотысячного, восторженно вопящего зала, — неприкрыто занимаются онанизмом.

Недавно наше раздолбанное, само себя с мокрою солью пожирающее телевидение показало по первой программе явно тюремную банду, соответственно разодетую и подогретую во главе с паханом, композитором, поэтом и певцом Гариком Сукачевым. Уж он дал так дал! Развязный, распоясанный, обвешанный дешевым золотишком, с золотым крестом на засаленной шее, с расстегнутыми обшлагами конечно же красной рубахи, стриженный конскими или тюремными волосьями на голове, с усами, выбритыми в ниточку на портово-кабацкий фасон иль под дореволюционного приказчика, чего он только не выделял перед соответствующей его искусству публикой: и курил, и плевался, только что не блевал на сцену!

А ведь всей этой блатной оголтелости не форточку, не окно открыл, но стену проломил и впустил в наш дом погань не кто иной, как Владимир Семенович Высоцкий. Он, он, дорогуша, он, кумир современников, хрипел им о недостатках, о провалах нашей жизни и морали. Теперь, когда публика насытилась напевом Высоцкого и сделалось возможным прочесть его всего, — приумолкли восторженные вопли о страдальчестве. Не был он никаким страдальцем, — забубенной головушкой был и забулдыгой, пьяницей и наркоманом, но при этом умел прекрасно играть на сцене и в кино, виртуозно владел гитарой и сгубил себя и свой талант сам.

А пахан Сукачев дубасит кулаком по гитаре, кривляется, очерив нечищенный хищный рот, изрыгает какое-то на давней помойке собранное плесневелое барахло. Мы тоже пели такие шедевры в детстве и юности, вышибая слезу у слабых сердцем девчонок и старух. Тогдашний альбомный шлягер: «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан, девушку с глазами дикой серны...» — вспоминается ныне с улыбкой, но вот

же с рыданием, с хриплым блатным вывертом, всерьез выдает залежалый товар здоровенный дядя, и в школах, в вузах учившиеся, выросшие в стране с древней певческой и великой вокальной культурой, сидят люди в зале и платочком вытирают сентиментальные слезы и сладкие сопли.

И все это поганство, повторяю, развело наше телевидение. Говорят, в штате его обретаются десятки тысяч человек, но взгляните на периферийные российские телепрограммы (они очень отличаются от столичных, как и вся наша периферийная жизнь) — там сплошные сериалы, повторы прошлогодних передач, азартные игры да круглые сутки в окошке шаманят лохматые так называемые поэты, композиторы и певцы, которые только вчера с горшка сошли или из колонии для матерых головорезов вылезли.

Раньше хоть престарелые вожди часто умирали и в траурные дни звучала камерная музыка. Так во время похорон Клима Ворошилова я познакомился с великим искусством великого дирижера Герберта фон Караяна, а ныне вот жди, когда ГКЧП случится и покажут «Лебединое озеро» иль чего-нибудь взорвут, а следовало бы подорвать хоть с одного угла Останкино, чтоб перетряхнуло там все до основания и шайку бездельников, всю эту трепливую шушеру сменили достойные, работающие люди.

В журнале «Континент» я однажды прочитал дерзкую и умную статью талантливой поэтессы Марины Кудимовой, в которой она доказательно объясняла вредное влияние поэзии Высоцкого на нынешнее время, на молодежь и всякую востроухую, моде подверженную публику. Кудимова попутно подсоединила к Высоцкому и Есенина: они, мол, они двое возбудили и обслужили блатной сброд. Нет, у Есенина блатнятина, растленность, в души влезаящая, занимает очень

мало места. В основном он — чистый, нежный поэт, как родничок, выбившийся из желтого песочка в сосновом бору. Благотворное влияние его на русскую поэзию есть и пребудет вечно. А хриплый голос, выразивший хриплое, нездоровое время, уже не звучит повсеместно, и время его уйдет, как только будут ликвидированы недостатки нашей современной жизни.

Время поющего фельетона и базарного рева, как свидетельствует жизнь, всегда было недолговечно. Помните хотя бы бродячих певцов-вагантов — уж как были остроязыки и бойки ребята, но сделались лишь достоянием истории.

Был у меня случай на Высших литературных курсах, это еще в шестидесятых годах. Узнавши, что я не отказываюсь читать рукописи младших коллег, студенты ко мне, как к таборному дядьке, валом повалили с прозой, стихами и даже драмами. Однажды пришел славненький, светловолосый, на Есенина похожий парень, застенчиво попросив посмотреть тетрадочку со своими стихами. Они были еще наивные, незрелые, с явно выраженной подражательностью кумиру и почти земляку Сергею Есенину. Но была в стихах искра божья, веяло от них молодостью, добрым миром, и славно уже звучала «тема женщины», для поэта всевечная, обязательная, как вступительный экзамен. И я приободрил молодого поэта, удивив его тем, что угадал — он влюблен, и заверил, что так оно и должно быть: поэту надо почаще влюбляться.

Примерно через полгода светловолосый поэт явился в мою комнату мрачнее тучи и сердито сунул мне в трубку свернутые стихи. Божечки мои! Что произошло с человеком? Его возлюбленная встретила другого парня и, видимо, уяснив, что от поэта скоро не получишь ни молока, ни шерсти, — вышла замуж за строителя с той же стройки, где работала маляром-штукатуром.

И чего мой поэт только не наговорил своей бывшей возлюбленной, какими словами он не клеймил, каких только нар для нее не придумал — даже нафталином осыпал и мещанкой обозвал, как героический Павка Корчагин девушку Тоню, в юности спасшую его, имевшую с ним пылкий роман.

— Ну-ка, сядь на стул и послушай стих, который давным-давно сочинен, — сказал я поэту и начал читать завет-молитву великого поэта:

Я вас любил; любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.

Когда дело дошло до заключительной строки «как дай вам бог любимой быть другим», молодой поэт уже так низко опустил голову, так побелел, что и смотреть на него сделалось жалко.

— Боже, как мы одичали! — наконец прошептал он и тихо удалился от меня, лишь в дверях обернувшись: — Выкиньте все это барахло в мусорную корзину.

Он не стал большим поэтом, но выпустил несколько книжек лирических стихов, долго работал в столичном издательстве редактором и, верю я, не настраивал редактируемых поэтов на зло.

В заключение для улады души повторю безраздельно любимого мной Рубцова, строками любимого мной стихотворения:

И снова я подумаю о Кате,
О том, что ближе буду с ней знаком,
О том, что это будет очень кстати,
И вновь домой меня увозит катер
С таким родным на мачте огоньком...

Поэты уходят от нас, как правило, несправедливо рано, — на Руси часто трагично, но слово, сердце, озабоченность жизнью, радость общения с людьми и приро-

дой, неиссякаемая доброта остаются с нами. Надо только почаще внимать поэтическому слову, впитывать его каждодневно. И тогда мы непременно станем лучше, чище, достойней и благородней.

Прав, конечно, был Николай Михайлович Рубцов, когда говорил, что не бывает честных коммунистов, а бывают лишь честные коммунистические дармоеды. Вон отродье это человеческое, доведя нашу страну до ручки, засело по углам, поджавши хвост, как бродячие псы, но, обнаружив, что с ними не поступают так же, как они поступали с теми, кто смел против них поднять хотя бы голос, — воспрянули и все сделали, чтобы сорвать перестройку в стране, снова заморочили наш всепослушный народишко и, благодаря этому, сколотив большинство в Госдуме, устроили там бардак, сорвали принятие всех важных и необходимых стране законов, прежде всего закона о земле, дружно проголосовали за материальные привилегии себе, любимым, — куражатся, кочевряжатся, устраивают драки на заседаниях, выставляют подлые свои морды напоказ, вновь демонстрируя безумность свою и куцемыслие.

Однако ж бывали исключения и в этих горластых, самоуверенных и сытых рядах, пусть с большими расходами, можно сказать, варварским потреблением человеческих, природных и прочих ресурсов, все же чего-то воздвигали, тут же его починали, латали; со скрипом, с авариями, разоряя деревню, построили советскую индустрию в городах. Тяжелую в основном индустрию, военную, стало быть, чтобы все в мире боялись чудовищного государства под названием Эсэсэр.

Вот к таким редким исключениям принадлежал секретарь Вологодского обкома, ныне уже покойный, Анатолий Семенович Дрыгин. Крупный мужик, с тя-

желым скуластым лицом и не менее тяжелыми кулаками. В войну он командовал стрелковым полком, который, будучи задействован в первой наступательной операции Красной армии еще в 1941 году, освободил от фашистов древний русский город Елец. Был он конечно же не лишен спеси, самодурства, по крутости характера мог и ушибить больно того, кто становился ему поперек пути или кто наплевательски относился к ответственному делу. Однако ж внимателен был к трудовому человеку, благоволил к интеллигенции, любил и берег одаренных людей. К примеру, всем писателям, нуждавшимся в жилье, по его распоряжению были выделены квартиры, хотя возможности Вологды, допустим, в сравнении с Пермью, из которой я переехал, были куда как невелики. В Вологду потянулись творческие люди со всех концов России, и здесь не сразу, но создалась самая крепкая и дружная российская писательская организация.

Где-то и как-то Анатолий Семенович находил время читать книги наши, знал всех здешних писателей не только поименно. По его подсказке второй секретарь обкома, ведающий идеологией, раз в квартал встречался с писателями, и мы не на кухнях, не по закоулкам высказывали все, что на сердце накипело. Условие было одно — не приходиться на встречу в пьяном виде. Нарушил это условие Рубцов, так воевода наш Романов и бюро писательской организации дали ему такого перцу, что в дальнейшем, идя на randevу с властью, он надевал чистую рубаху, и заметно было по пиджаку, что пытался его где-то погладить.

Любил Анатолий Семенович лично поприсутствовать в дружных гулянках творческих сил. У нас они бывали по случаю проведения отчетно-выборного собрания. Нам даже помещение для этого дела подходящее выделяли и с деньжонками подсобляли. И тогда

уж мы весь товар лицом показывали, читая много стихов, пели песни, пускались в пляс. Витя Коротаев, заводила наш, колесил кривыми ногами, дробы давал и такие ковыринские коленца выделывал, что на зависть были бы самому ансамблю Моисеева. За ним бабенки наши с визгом пускались. Не раз и моя Марья, не удержав страсти, ныряла в веселый хоровод.

Однажды Анатолий Семенович попросил Рубцова, что сидел напротив него за столом, почитать стихи. Коля долго, много и хорошо читал. Был он в тот вечер в ударе, мало пил. Послушав его, Дрыгин, опершись на руку, сочувственно и горько сказал:

— Все у тебя кресты, могилы, старики да старухи, а ведь ты еще молод. Что же там, в душе твоей, делается? Какая печаль-тоска тебя съедает? — И, помолчав за притихшим столом, спросил по-отечески ласково: — Может, я смогу тебе чем-то помочь? Слышал, вот с квартирой у тебя плохо...

Тут уж все мы разом заговорили, сообщая, что Коля подселен к партийному чиновнику за рекой. Дрыгин усмехнулся:

— Не могли ничего лучше придумать, олухи! Будет тебе квартира, Рубцов, будет. В первом же доме, который на днях сдают. Там тебя и поселят.

И поселили Николая Рубцова на улице Александра Яшина, в светленькой, обалконенной однокомнатной квартире, куда новопоселенец привез мягкий диван, круглый стол и два стула. Мебель эту отыскиали в редакции молодежной газеты, новый же диван Коля как-то сподобился купить, да еще та знаменитая раскладушка привезена была им из-за реки. Были привезены так и не развязанные стопки книг, золотистая икона, кто говорил, от матери оставшаяся, кто говорил, подаренная художником или музеем, а то и реставратором Федышиным.

Наш дом был неподалеку от улицы Яшина. В доме, где поселился Рубцов, размещалось почтовое отделение. И Марья Семеновна, почти ежедневно бывавшая там, говорила, что видела Колю опять выпившего, опять взвинченно-веселого, беззаботно всем хвастающегося квартирой своей, забулдыг туда собирающего.

Захаживал он частенько и к нам. Однажды забрел с утра, глазенки сверкают, что лампочки на новогодней елке, улыбка, в левом углу рта затаенная, так и рвется наружу. Говорит громко, словно обмолотить всех норовит.

— Ты чего, Коля?

— А я деньги получил из Москвы — за книгу «Зеленые цветы».

— Много?

— Ой, много!

— А ну покажи!

Коля полез за пазуху в карман всесезонного пальто, куда входил полностью, по горлышко, «огнетушитель» с дешевым вином, и вынул целую пачку денег. Сказав «о-го-го-о!», я взял эту пачку и сунул себе в карман. Коля растерялся, запохохатывал. Мол, понимает мои шутки и достойно расценивает их. Я покричал Марье Семеновне на кухню, чтоб дала мне рюкзак побольше, сумку домашнюю, и объявил, что сейчас мы пойдем с Николаем Михайловичем покупать имущество для квартиры. Помирать буду, но не забуду тот день. Коля, как малое дитя, радостно, порой восторженно смеялся, перебирал ногами, потирал руки и все удивлялся, как много всего современному человеку надобно для нормальной жизни. Начали мы покупки с двух комплектов постельного белья.

— А два-то зачем? — недоумевал Коля.

— Одну пару в стирку сдашь, на другой спать будешь.

— А-а...

Толкую ему и ворчу, что он, пролетарский советский, всю дорогу по общагам да по кораблям ошивался, кто-то его обстирывал, постель ему проворил, кормил, но теперь надо это все делать самому, иметь свое прибежище, заботиться о себе.

Первую партию товара — матрац, подушку, белье, скатерку на стол — затащили мы на пятый этаж и отправились в посудный магазин. На пути нам встречались знакомые, манили Колю за собой, но он проникся ответственностью момента и сурово отшивал корешей, многозначительно грозя пальцем, орал даже:

— Мы имущество с Петровичем приобретаем, и ушейся, не вставай на нашем пути!

В посудном магазине снова смех с провизгом:

— Петрович! Виктор Петрович! А кастрюли-то две зачем?

— Коля, ну, ты и правда совсем без ума. В одной кастрюле суп варить будешь, в другой — кашу.

— Я не люблю кашу. Она мне на флоте надоела.

— Вари картошку, вермишель, макароны.

— Картошку я очень даже обожаю, особенно — в мундирах. Горяченькую вынешь, облупишь и — э-эх! А вилок-то и ложек зачем столько?

— Ну, четыре пары всего и половника два, вот еще сковородку купим. Да кружек штуки три, стаканы-то ведь по пьянке побьете.

— Побьем, побьем. Не-э, я теперь никого к себе не пушу и имущество не позволю гробить.

— Вот видишь, и ты за ум собираешься взяться. Может, женишься со временем — найдется дура вроде моей Марьи.

— Нет, Марья Семеновна не дура. Уж вон сколько у вас имущества и вся квартира в порядке.

— Надеюсь, и у тебя со временем будет в доме порядок.

— Будет, вот клянусь тебе! Вот бля буду!

— Ну-ну, посмотрим...

К вечеру Коля изнемог от восторга и полноты чувств. Особую радость и умиление вызывала у него штора вишневого цвета с радужной каймою, сделанная из вологодского холста. Он даже притих и попросил, чтобы самому нести сумку со шторою, прижимая ту сумку к груди и нет-нет да залазил в сумку рукою, пальцами щупал красивую вещь. Хотелось мне купить ковровую дорожку в тон шторе, но найти не смогли и купили домотканый половичок болотного цвета. На этом половичке впоследствии и задавила поэта роковая женщина.

В не очень-то удачливый день мы угодили, многого, что нужно в дом, не могли найти в магазинах. Нужно было одеяло, хотя бы байковое, но нигде нет одеял. Я позвонил Марье Семеновне, обсказал, как у нас идут дела. Она поразовалась этим известиям и сказала, что найдет временный выход из положения — сошьет вместе два детских одеяла, потом уж как-нибудь и настоящее Коля приобретет. Последнее, что я решил купить и чем окончательно доконал поэта, — картину на стену.

— Ну, это уж ты, Петрович, это уж ты зря.

Но я не сдавался, был упорен. Однако и тут не повезло — не было ничего подходящего в магазине. Тогда я решил купить бумажную репродукцию с картины Саврасова «Грачи прилетели». Стоила она вместе с рамой тридцать рублей.

— Это же, это же... — соображал поэт, — это же три, даже четыре бутылки вина!

— На лопате говна! — обрезал я его. — На вот, купи бутылку водки — не бормотухи твоей любимой, а водки, обмоем с тобой обновы. Да хоть хлеба и селедки купи, рукавом я закусывать не умею.

— Избаловала тебя Марья Семеновна, ох избаловала! — покачал головой Коля, заворачивая в гастроном.

Дома мы наскоро прибили к стене «Грачей», повесили икону и пошли на кухню. Закусывали с тарелок, вилками цепляли куски селедки, чай пили из нового чайника, который, вскипев, засвистел, чем привел поэта в совершенный восторг. Денег еще оставалось порядочно, я наказывал Коле купить полку для книг, решетку для посуды, в ванную — сиденье, мочалку, мыло, зубную щетку и пасту, совок, ведро для мусора, метлу, стиральный порошок. Он со мною утомленно соглашался, был послушливо смирен, радовался обустройству своему, говорил, что вот все прибьет, расставит и начнет работать. На том мы и расстались.

Я улетел по делам в Москву и, когда вернулся, спросил у Вити Коротаяева насчет Коли.

— Гу-улет наш гений, — с огорчением сообщил Витя. — Все еще новоселье справляет. Нашел каких-то таких умельцев штору прибить. Они ее прибьют так, что ночь повисит, а утром падает. Они снова ее прицепят на место и обмывают такую победу.

Я пошел на улицу Яшина, поднялся на пятый этаж. Квартира, еще недавно свежая, сверкавшая белизной, была уже как бы подморена, полна табачного дыма. В ней тяжело пахло, окна не сверкали, и на полу под окном валялась прикрепленная к деревянной гардине штора, скомканная и униженная в красоте своей.

Вокруг стола сидела разношерстная компания на стульях, на диване, на полу. Были тут уже законченные алкаши из журналистов, выгнанные из дому женами, два мастера по подвеске штор и прочего благоустройства. Феликс Федосеев, корреспондент Всесоюзного радио по Вологодской области, всем друг-товарищ и собутыльник, о чем-то разглагольствовал, еще какие-то типы. Один валялся на полу, лицом к стене, и спал безмятежно. Я заглянул на кухню: посуда, вся уже подкопченная газом, обсохла, повсюду разбросаны ложки с

вилками. Осколки разбитых тарелок и банки свалены в раковину, стекла хрустят под ногами. В ванную я уже не захотел заглядывать.

Компания при моем появлении азартно загалдела:

— Петрович! Вот молодец, что пришел! Петрович, рюмаху с нами!

Я огрел их кривым словом, и гуляки умолкли. И пока я осматривался, изучая обстановку, гуляки насто-роженно следили за мной. Я молча повернулся из так быстро загаженного, сделавшегося неприятным жи-лья. Следом за мной сорвался хозяин. На межэтажной площадке я обернулся. Коля стоял, опершись на брус лестницы, и, видел я, хотел меня окликнуть, да не смел.

— Что смотришь? — спросил я. — Все в мальчика иг-раешь? Все придуряешься? Ты же знаешь, что я — ар-тист похлеще тебя, и мне все эти фокусы давно извест-ны. Ты чего ж это так варварски обращаешься со всем, что тебе Бог дал и дает? Ты чего дарование-то Господ-не под ноги бросаешь, грязной обувью топчешь? Удаль свою хочешь доказать, забубенность? Так ты их уже с лихвой доказал...

Встретив меня скоро в городе, Феликс Федосеев, ска-ля железные зубы, сообщил:

— Чего ты там такое Рубцову наговорил? Вернул-ся он да как топнет в ярости на нас ногой: «А ну, бля-ди, прибивайте штору, мойте посуду, пол и уметайтесь к такой-то матери! Из-за вас, ханыг, погибает мой та-лант!»

Какое-то время Рубцова нигде не было видно и слышно. Как выяснилось потом, он плотно сидел за столом, плодотворно работая. Но все время над этой рано облысевшей головушкой вертелись какие-то злые ветры недоразуменья, грехи вольные и невольные пре-следовали ее.

Снова появилась, теперь уже в новой квартире, его присуха, маета и любовь грешная, погубительница Людмила Дербина. Женщина крупная, задастая, грудастая, конопатая, из тех, что волновали и влекли с виду тщедушного, но пылкого поэта ненасытной своей плотью, не зная усталости, тешила возлюбленного, наслаждаясь свободой в новой квартире, ничего там не моя, не убирая. И самое худое — попивала вместе с ним. Разика два парочка эта поэтическая появлялась у нас. Рыжая, крашенная, напористая подруга Николая, при которой он держался шумно, порой развязно, не поглянулась Марье Семеновне, да и мне — тоже, жена моя попросила Рубцова не приходите к нам больше с пьяной женщиной, да и самому, если есть желание нас навещать, быть потрезвее.

О-о, беда, затем произошедшая, надвинулась не сразу. У нее было давнее начало и долгое продолжение, которое должно было всех нас насторожить и обеспокоить.

Семья наша сошлась с Николаем Михайловичем Рубцовым еще тогда, когда мы жили на первой квартире, о которой я потом долго тосковал и отчего-то по сию пору часто вижу ее во сне. Усталый, разбитый искусством, вышел я дохнуть воздухом, попутно купить молока и горячих пышек, которые продавались с голубой тележки на углу. Гляжу, сюда же плетется Николай Рубцов. Бледный, с выступившими под носом и на лбу каплями пота, с непородисто заросшим лицом, со вставленными в темные ободья глазами. Вот-вот упадет. Я подхватил его под руку. «Ты что, заболел?» — спрашиваю. Он только слабо махнул. С трудом уговорил его пойти к нам, помог подняться по лестнице. Марья Семеновна напоила гостя горячим молоком и сердечными каплями, уложила на диван, и он там проспал день, затем ночь, так тихо, не шевелясь, спал, что я подходил посмотреть — живой ли?

Прошло три дня. Николай начал приходить в себя после, как оказалось, провального запоя. Помылся, побрился, лежит, книжку почитывает, но тут примчался нас все годы опекавший работник отдела культуры обкома и, как мы ни убеждали оставить человека в покое, умчал его к себе. Я уже сообщал, что Рубцов не очень-то жаловал всякого рода чинов, тем более — дистилированную обстановку в доме и шибко интеллигентное обращение друг с другом, стало быть, и с ним тоже, вот и смотался быстренько куда-то.

Вскоре и появилась она. Николай Михайлович не любил показывать народу дам своего сердца и распространяться насчет интимных и прочих дел тоже не любил. А эту, Людмилу-то Дербину, с которой свел его Литинститут, привел в Союз писателей, — представил как поэта, таскал ее повсюду за собой по мастерским художников, по домам, редакциям и квартирам. Даже помог организовать обсуждение сборника стихов Дербиной в Союзе писателей с целью рекомендовать его для издания в Архангельске и сам выступил рецензентом.

При этом, как всегда, когда дело касалось поэзии, — строг, взыскателен и даже беспощаден. Стихи Дербина слагала уже крепкие, звучные, но были они неженственны, по-медвежьи косолапили и отдавали жестокостью. У меня под руками ее очень сильный третий сборник — «Крушина». В раннем стихотворении «Люблю волков» есть такие строчки:

Люблю волков за их клыки во рту,
За то, что их никто уже не любит,
За то, что их так безрассудно губят,
Природы попирая правоту.

И заключение:

Вся грузная, бояться буду драки, —
Я все ж оскалю острые клыки,
Когда за мной погонятся собаки.

Мои волчата! Вам несдобровать.
Но разве сдобровать дворовым сукам?!
Я глотки их успею перервать,
Пока меня по голове — обухом...
Когда ж с башкой, раздробленной в огне,
Лежать я буду, сотворя бесчинство,
Ну, кто поймет, что вот сейчас во мне
Погублены любовь и материнство?

Или веще-зловещее предощущение в другом стихотворении:

Убийственно в яростном стрессе
Слепое движение рук...

Целый ряд подобных стихов был в той рукописи. И Рубцов категорически выступил против них, утверждая, что женщине не подобает писать стихи такого рода. По жалости натуры склонный благоволить женщинам, я что-то возразил рецензенту. Но он, обычно благожелательно относившийся к тому, что я глаголю, на сей раз был непреклонен и суров. Сборник в общем-то был одобрен. С замечаниями возвращен автору на доработку. Но, увы, увидеть свет предстояло ему не скоро...

Я, да и не только я, — все мы, вологодские писатели, как-то надолго выпустили из вида гулевую парочку поэтов, и лишь стороной долетали слухи о том, что они уж и драться начали. У Дербиной была девочка, собиравшаяся в школу. Женщина нашла себе работу, устроясь библиотекарем на торфяном участке. Здесь же, в полугнилом бараке, при библиотеке, была и комнатка для жилья. Лишившись дома и мужа из-за любви, Дербина устроилась на участке, что располагался верстах в пяти от Вологды, и облегченно вздохнула.

Но неугомонный кавалер достал ее и на торфе. Ну, достал и достал. Что тут поделаешь, коли такая привязанность у человека и обожание непомерное, всепоглощающее. И обожал бы иль сидел в барачной библиотеке, книжки читал, стихи записывал. Так нет ведь, его

скребла творческая жила по сердцу, не давала сидеть в укромном уголке — страсть нравоучения влекла к народу. В дырявых носках выйдя из-за стеллажей, он обвинял читателей-торфяников в невежестве, бескультурье, доказывая, что лучше Тютчева никто стихов не писал и не напишет. Поэзию обожаемого им Тютчева он декламировал с пафосом, с выкриками!

Кончилось тем, что Дербина выставила своего обожателя вон, умоляла не приезжать больше, так как из-за него может лишиться последнего скудного куска хлеба и пусть дырявой, но крыши над головой. Не внял поэт мольбам любимой дамы, иной раз пешком тащился по грязным болотным дорогам и торфяным рытвинам на манящие огни поселка. Возлюбленная навесила на дверь крючок и однажды не пустила кавалера в свой дом. Он ее умолял, матом крыл — ничего не действовало. Тогда пошел под окно барака, двойные рамы которого, пыльные и перекошенные, не выставлялись со дня творения этого социалистического жилища, от досады сунул кулаком в окошко и вскрыл стеклами вены на руке.

Квартира моя располагалась как-то очень уж ловко — пристань рядом, парикмахерская — рядом, Дом-музей Петра Великого — здесь же. Тут же почта, магазин, скоро выяснится, и морг, и больница по соседству. Иду я по набережной, а навстречу мне еле живой тащится знакомый врач. Поздоровался я с ним и спрашиваю, чего он такой усталый-то? А он в ответ:

— Всю ночь вашего Рубцова спасал, вены в кучу собирал. Умудрился, дурак, поувечиться на торфоучастке, куда «скорая» пройти не может. Вот и тащили его до дороги-то, крови много потерял.

Днем меня не пустили к Рубцову, сказав, что дня через два-три оклемается, тогда и свидитесь. Я на денек слетал по вызову в Москву, на рынке купил све-

жайших пупыристых огурчиков, и, когда Коля явился на мой зов, мы сели на скамейку над рекой, я сунул ему три огурчика в здоровую руку со словами:

— На, питайся витамином, может, поумнеешь.

— А я уже и так умный, — беспечно ответил поэт. — Стихи пишу, несколько штук уже накатыл. Хочешь, прочитаю?

И прочел мне «Ферапонтово», «Достоевский», «В минуту музыки печальной», «Философские стихи» — целое поэтическое откровение. Читал без юродства, без противного выпендрежа, юношески звенящим голосом.

— Ох, Коля, Коля! — вздохнул я. — Голова ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить?

— Теперь, поди, долго, — задумчиво молвил он и оживился: — Огурчиками я мужиков угощу. Знаешь, какие мировые мужики со мной в палате лежат...

— Давай поправляйся скорее, на рыбалку поедем.

— На Низьму?

— Хочешь, так и на Низьму.

Дело было в первое лето по приезде в Вологду. Всей семьей подались мы на пристань с целью поехать на рыбалку, но куда именно — еще не знали. Я прочел на расписании названия пристаней. И мне понравилось слово «Низьма». И только купили мы билеты, как дочь говорит:

— А вон дядя Коля из «Поплавка» выплывает.

Был Коля «на развязях»: судя по осунувшемуся лицу, потухшему взору, мокрой сигарете во рту, давно уж не спал и ладом не ел. Я предложил Рубцову поехать с нами. Ему, видно, было уже все равно, куда идти, ехать или плыть. Всю дорогу на верхней палубе катера, обдуваемый теплым ветерком, наш попутчик проспал и на речку Низьму прибыл уже взбодрившийся.

На пристани, что оказалась небольшой, весело стоящей на крутом берегу дереvушкой, на длинной скамье для пассажиров сидели нарядные бабы и старушонки, голосисто пели: «Сердцу хочется ласковой песни и хорошей, большой любви». У одной из этих баб мы за десятку взяли лодку напрокат и погребли вверх по течению. Речка была смиренная, сплошь по плесам и подбережьям заросшая водяной дурью, кое-где освещенная желтыми лампадами кувшинок и шибко засоренная лесом от весеннего сплава.

Отплыв километра два от пристани, мы перевалили на другую сторону речки и отабарились на травянистом мыске, полого всунувшемся в реку. На нем было много плавника и хлама. Быстро развели огонь. И я принялся добывать рыбу на уху, а дочь с Колей таскали хворост и коряжины на ночной костер. С ходу, с лету я не добыл уху, хотя рыба плескалась в речке густо. Но шел тучею и падал на воду поденок, рыба нажралась и на моего червяка не хотела смотреть. На спиннинг я выдернул всего двух щурят в карандаш длиною.

Ужинали домашней снедью. Вина с собой мы не взяли, ограничась лишь парой бутылок пива. Коля молча выпил кружку и молча же, отчужденно чего-то поел. Он был расстроен тем, что дочь моя воструха уязвила его мужское достоинство. Заметив, как он тащит к огню веточки да палочки, заявила, что у него и силы-то никакой нету. Через большое время, уже в сумерках, поэт вскинулся:

— А-а, я все понял! Ты, Ира, когда щупала мою руку и говорила, что мускул-то у меня нету, так это ты вату на пиджаке нащупала. Ты, видать, не знаешь, что в мужской пиджак на плечи подкладывают вату.

Я незаметно показал дочери кулак, и она согласилась насчет ваты. Коля оживился, начал смеяться, с охотой попил чаю с пряниками и даже покритиковал

низьменских старух за то, что забыли народные песни и орут черт-те какую киношную дребедень. Вечеру в речке начали пиратничать банды окуня. Были они тут опытные и хитры, загоняли стайки малявок меж бревен, чаще всего туда, где бревна сходились клином, и подчистую выедали их. Пользуясь моментом, я подсовывал им мелкую блесну и скоро надергал рыбешки на завтрашнюю уху.

До наступления холодной ночи нас крепко чистил комар, да и чайку крепкого напились, но в поздний уже час, когда смолкли певуны за рекой, а на речке запели кулики, парами летая над водой с берега на берег. Мы с Колей легли на плащ и укрылись пледом по одну сторону огонька, а мать с дочерью — по другую.

Я пробудился рано, надеясь на утренний клев. Коля сладко спал, подложив ладошку под щеку. Подживив огонек, я пошел вверх по реке со спиннингом и возвратился к табору, когда довольно уже высоко стояло солнце. Коли на стане не было, куда пошел — не сказал. Вольный человек, не привык давать отчет кому-либо в своих действиях и желаниях. Возвратился он сияющий, неся в пригоршнях первые летние грибы, и начал хвастаться, как лучше всех деревенских ребят искал грибы и сейчас вот раз — и нашел! Прямо у дороги. Никто не нашел, а вот он нашел и еще найдет! Вернулись мы домой отдохнувшие, ближе познакомься с вологодской природой и тихой речкой Низьмой. Коля, свежий, бодрый, сказал, что будет работать, и мы еще как-нибудь соберемся в поход.

— На Низьму, Виктор Петрович, на Низьму! Сейчас там знаешь сколько грибов! — аж подрыгивал Коля на прибольничной скамейке.

И твердо обещал ему поехать туда, но, когда в конце недели пришел в больницу, его там уже не было. Пьяницы, кореша, литературные прихлебатели уманили, уве-

ли слабого человека из больницы. Лишь через несколько дней увидел я его среди гомонящей артельки, окружившей дядю огромного роста и веса. Был он лохмат, небрит, телогрейка надета прямо на голое тело. И по телу тому вилась, реяла, чертом прыгала, томительными любовными изречениями исходила татуированная роспись. Коля грозил этому громиле рукой, обмотанной грязным, уже размахрившимся бинтом. Кричал, что ему все рокоссовцы в Вологде знакомы. Я спросил, в чем дело. Мужик, с презрением глядевший на гомонящую вокруг мелкоту, покривил налимью губу.

— Да вот вшоньш этот, — кивнул он на Рубцова, — попросил спичек прикурить и давай их чиркать и бросать, чиркать и бросать... Он чё, от роду ударенный иль недавно заболел?

Коля взвился было, но я отобрал у него коробок со спичками, вернул владельцу, попросил извинения у человека, который плюнул под ноги, и пошел дальше. Коля ко мне с претензиями: не лезь, куда тебя не просят. Мы бы этому хмырю таких пиздюлей навесили, что месяц или полгода красными соплями сморкался...

Хорошо, что громила был чем-то озабочен и куда-то устремлен, иначе зашиб бы поэта и его окружение одним махом. Да что об этом толковать человеку, впавшему в пьяный кураж... Я ушел от драчливой компании и какое-то время нигде не встречал Николая. Он через общих знакомых наказал, чтобы я зашел к нему домой. Видно, повиниться захотел. Дома были оба трезвые. Коля сообщил, что они решили с Людмилой расписаться — хватит гулять-куролесить и всякой хреновиной заниматься, пора за ум братья.

— Пора. Конечно, пора. Когда сочетается-то?

Они назвали число. Выходило, через две недели после крещенских морозов. В квартире по-прежнему царил запустение, изожженная, грязная посуда была сва-

лена в ванную вместе с тарой от вина и пива. Там же кисли намыленные тряпки, шторы-задержушки на кухонном окне сорваны с веревочки, столы в пятнах от гасимых о них окурков и словно изглоданы по краям. Об эти края сбивались железные пробки с пивных и прочих бутылок. Постель на диване была нечиста, из неплотно прикрытого шкафа вывалилось белье, грязный женский сарафан и другие дамские принадлежности ломались от грязи.

Ох, не такая баба нужна Рубцову, не такая. Ему нянька или мамка нужна вроде моей Марьи. Да что делать, не у всякого жена Марья, а кому Бог даст. Коле Бог давал почему-то неподходящих спутниц, в последнее время все чаще — лахудр.

Ее, мою Марью, и считали Колиной женой во всей округе — так часто они сходились на почте, в хлебном магазине, в очереди в кулинарии иль за молоком. Ей, моей Марье, и суждено было первой узнать о трагедии, случившейся в квартире поэта Рубцова. Умиравшая года три назад от энцефалита, пережившая множество страшных болезней, последствия которых не сломали ее, человек крепкой уральской рабочей породы, она с утра до вечера копошилась по дому, работала да печатала мои не куриной, а коршуньей лапой написанные рукописи.

С вечера она жаловалась на головную боль, на ногу, пораженную костным туберкулезом, и я настоял, чтобы утром она шла в больницу. И вот явилась, слышу — плачет, носиком своим выдающимся шмыгает! Ну, думаю, велено ей ложиться в больницу, а она, как всегда, не хочет туда — некогда ей, дети, муж, стирать надо, варить, рукопись не допечатана. Сейчас я пойду и дам ей выволочку. Решительно направился в прихожую. Там, опершись на косяк, Марья моя в три ручья заливается.

— Она убила его! — говорит.

— Кто? Кого убил? Когда? Зачем? — спросонья ничего понять не могу.

— Она, эта женщина, убила Колю Рубцова... — Марья Семеновна упорно не называла Дербину по имени.

Я понял, что она вместо больницы подалась на почту — сдавать бандероли и письма, там ей сообщили, что ночью Рубцова убила его сожительница. Так оно и было, только вместо слова «убила» стало обозначаться — «задушила». Я взял из рук Марьи сумку с почтой и ни с того ни с сего принялся ее ругать за то, что вместо больницы шляется черт знает где. Но скоро опомнился и позвонил Александру Романову, руководителю нашему. Он с испугу и от неожиданности лишился речи, скоро перезвонил мне, не веря в случившееся.

— Звони, Саша, в Москву, а я обзвоню наших ребят.

Скоро к нам пришли Саша Романов и Витя Коротаев, что делать, спрашивают. Я сам не знал, что делать. Дербина сама ушла в милицию в пять часов утра. Перед этим вымыла руки и пошла сдаваться. Убиенного увезли в морг, и я несмело предложил ребятам сходить туда, зачем — не ведаю.

Морг-подвал был вкопан в берег Вологды, под яром навалена, насыпана была куча всякого мусора и спецпринадлежностей, проросших чернобыльником, сыплющим семя по грязному снегу. Ломаные носилки, гипсы, тряпье, черные бинты и даже криво сношенный протез рифленой подошвой торчал из гнилого сугроба. А в приделе морга, на деревянной скамейке, лежал черный труп, вознесший беспальные руки в небеса, и от него, несмотря на зиму, источался тяжелый запах. Ребята оробели, говорят — ты, мол, Виктор Петрович, старше нас, на фронте был, всего навидался.

Да, навидался. Никому не пожелаю того видеть, что зрил за свою жизнь. И начались мои памятные видения в шестилетнем возрасте с такого же вот черного

трупа моей мамы-утопленницы. Мне запретили на нее смотреть, но мальчишеское любопытство непобедимо, я глянул на утопленницу через забор и долго потом вскакивал ночами, орал. Бабушка отпаивала меня святой водой.

Я прошел в морг. Внутри он был не так ужасен, как снаружи. Мрамором отделанный зальчик был негусто заполнен носилками или топчанами с наброшенными на них простынями, под которыми угадывались тела упокоенных. Меня встретила пожилая пьяненькая тетка с бельмом на глазу — такие, на мой взгляд, особы и должны здесь хозяйничать. Тетка открыла было рот, но я сунул ей пятерку, и она запричитала:

— Вы к Коленьке, к Рубцову? Вот он, вот он, ангелочек наш, соловеюшко вологодский. — Приоткрыла простыню на крайнем топчане.

Я попросил прибавить свету. Самое удивительное было в том, что Коля лежал успокоенный, без гримасы на лице и без языка, который непременно вываливается у удавленников. Едва я не вскрикнул, заметив вместо гримасы привычную, хитроватую иль даже довольнехонькую улыбку в левом углу рта, словно бы Коля говорил ему: «Ну, оставайтесь, живите. А я — отмаялся».

Его горло было исхватано — выступили уже синие следы от ногтей, тонкая шея истерзана, даже под подбородком ссадины, одно ухо надорвано. Любительница волков, озверевши, крепко потешилась над мужиком. Не знаю, правда или нет, будто соседи слышали иль в милиции убийца призналась, что Николай на мгновение вырвался из ее лап и успел сказать: «Люда, я же тебя люблю». Не помогло. Какая-то сатанинская сила, непонятная самой женщине, овладела ею, и она не могла опомниться, остановив себя.

Да, он пришел пьяный, да, снова куражился над нею допоздна, бросал в нее горящие спички — чуть не пол-

ный коробок горелых спичек обнаружился на полу, — да, оскорблял ее и поносил. Ну, встань, уйди, навсегда уйди или хотя бы на ночь. Нет, необъяснимая, тягостная сила накапливалась в ней не первый день, не один месяц. За столом напротив человек бросает в нее горящие спички, а она, даже не отворачиваясь, не чувствовала ожогов. Грозовая туча заполняла ее сердце и поднималась все выше и выше, темня рассудок.

...Но был безумец... Мною увлеченный,
Он видел бездну, знал, что погублю,
И все ж шагнул светло и обреченно
С последним словом: «Я тебя люблю!»

Пройдут годы после смерти поэта. Убийца отсидит в тюрьме, вернется на родину, издаст в райгородишке Вельск сборник стихов под названием «Крушина». Книжку, заполненную сильными, трагически звучащими стихами — уникальнейшим материалом. Случалось, и прежде от насильственной смерти погибали поэты, бывало, женщины их отравляли, кололи, стреляли, но чтобы руками, живыми руками женщина удушила мужчину, поэта — поэт (а «Крушина» убедительное свидетельство тому, что Людмила Дербина — поэт даровитый), оттого все выглядит еще трагичней. В бремени своем носящая непомерно тяжкий груз, душу, в пепел сгораемую на медленном огне, тоску, раскаяние, любовь неугасимую, презрение людское, ненависть и много-много еще такого, чего никому не дано пережить и осознать.

Главное и самое болезненное, о чем свидетельствуют стихи Людмилы Дербиной, — она любила, любит и не перестанет любить так чудовищно погубленного ею человека. Вот эту-то тайну как понять? Как объяснить? Каяться? Но вся книга и есть раскаяние, самобичевание, непроходящая боль и мука, вечная мука. Было бы, наверное, легче наложить на себя руки и от-

решиться разом от всего. Но Бог велит этой женщине до дна испить чашу страдания, до конца отмучиться за тот тягчайший грех, который она сотворила, до могилы пронести крест, который сама на себя взвалила.

Человеческие сплетения судеб, что вы есть-то? Кто же, когда прочтет, разгадает, объяснит? О Господи! Прости всех нас за грехи наши тяжкие и не забудь про ту, всеми на земле гонимую женщину, наедине живущую в глухой, болотистой Вологодчине, ставшую уже бабушкой, не оставляй ее вовсе без призора. Ты — милосерд. Ты все и всех понимаешь. Нам же, с нашим незрелым разумом, этой неслыханной трагедии людской не понять, не объяснить, даже не отмолить. Мы — никудышные судьи, все судим не по закону Всевышнего, а по Кодексу РСФСР, сотворенному еще безбожниками. Нам не дано над злобой своей подняться.

Поэт поэта если не поймет, то хотя бы посочувствует ближе, чем кто-либо другой. Задолго до гибели Рубцова подобные похороны достоверно описал пермский поэт Алексей Решетов:

Девчата с железным венком.
Фотограф с притворной тоскою,
На скорую руку завком
Хоронит газетчика Колю.

Ни матери нет, ни — отца.
Ни музыки нет, ни — молитвы.
Типичная гибель бойца
На поле решающей битвы.

Печальнойю кучкой друзья
Собрались в столовой на рынке.
Дешевая водка, кутья —
Не первые в жизни поминки.

Нас ангелы плохо хранят,
А сколько кровавых ристалищ...
Все чаще под утро звонят,
Что умер хороший товарищ.

Я сейчас не в силах описать подробно многое из того, что знаю о поэте Рубцове, в частности, все следующие за его гибелью дни и события. Хоронить Рубцова было не в чем. По пятерке, по десятке собирали писатели, журналисты, художники. Хорошо, что я перед теми страшными днями получил из «Роман-газеты» гонорар. Он крепко пригодился.

Хоронили Рубцова в крещенские морозы. И все вспоминали его вещее предсказание: «Я умру в крещенские морозы». Власти вроде бы не замечали трагедии, однако стукачей на панихиду в Дом художника наслали. Но у гроба поэта все говорили всё, не обращая внимания на посторонних. Многие ребята просто плакали, склонив головы над гробом. Народу на кладбище собралось изрядно. Похороны и поминки проходили будто в полусне.

На похороны поэта из Москвы приехал тихий и больной человек, тоже поэт — Борис Примеров. Да парень из Горького, кажется, Сизов. С ними Рубцов учился в Литинституте. Друзья, объявившиеся ныне во множестве у Николая Рубцова, не изволили быть на скорбном прощании. Они как раз в это время боролись за народ, за Россию, и отвлекаться на посторонние дела им было недосуг.

Самой горькой и одинокой была на похоронах жена Коли, мать его дочери, Гета Меньшикова, приехавшая из деревни Николы. Она тихо плакала, сидючи в стороне, и так же незаметно вернулась домой вдовой.

На поминках мужики перепились, и я — тоже. Вели себя неподобающе: ревели, шумели, пытались высказываться, рвать на себе и соседях рубахи, и от стыда, не иначе, сразу после похорон слиняли, разбежавшись по своим углам, разъехались по деревням и долго-долго не сходились вместе.

С тех пор и началась отчужденность, затем и разобщение в нашей славной прежде организации. Воевода

наш, страстотерпец и друг Александр Романов взмолился, просясь в отставку. Тогда-то вот, от тоски-печали и несносной сырой погоды, появилась у меня мысль вернуться на родину. Меня давно уже туда тянуло, приглашали, звали родственники и власти. Пусть негромко, но все же давали веху. Наибольшее старание, множество хлопот с переездом проявил Борис Васильевич Гуськов, тогдашний заведующий отделом культуры крайкома. Спасибо ему за это. И низкий поклон вологжанам за то, что на десять лет приютили, сердечно обогрели, дали возможность плодотворно работать, наградили дружбой, иногда делясь последним куском хлеба. Я старался отвечать им тем же.

Пройдут годы. Посмертная слава поэта Рубцова будет на Руси повсеместной, пусть и не очень громкой. Найдется у вологодского поэта много друзей, биографов и поклонников. Они начнут превращать Николая Михайловича в херувима, возносить до небес, издадут роскошные книги поэта. Не мечталось Рубцову такое отношение к себе при жизни. Все чаще и чаще станут называть его великим, иногда и гениальным поэтом. Да, в таких стихах, как: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Видение на холме», «Добрый Филя», «Шумит Катунь», «Прощальное», «Вечерние стихи», «В гостях», «Философские стихи», и в последнем, в чемодане найденном, откровении века: «Село стоит на правом берегу» — он почти восходит до гениальности. Но все же лучшие стихи поэта говорят об огромных, нереализованных возможностях. Он уже пробовал себя в прозе, приближался к Богу, реденько и потаенно ходил в церковь, застенчиво молился.

Душа его жаждала просветления, жизнь — успокоения. Но она, повторяюсь, плохо доглядывает талантливых людей. И Господь, наградив человека дарованием,

как бы мучает, испытует его этим. И чем больше дарование, тем больше муки и метания человека.

Есть у известного современного скульптора изваянная фигура Сергия Радонежского, установленная на зеленом холме среди зеленой поляны возле Сергиева Посада. В середине фигуры святого не зародышем, но смиренным ангелочком таится маленький, чистый мальчик. Вот и в поэте Николае Рубцове помещался этот светлый, непорочный ангелочек, оберегая его от многих пороков, удерживая от совсем уже поганых и безрассудных поступков, но не всегда справлялся со своей задачей. Однажды ангелочек-хранитель упорхнул куда-то, может, в голубые небеса подался — почистить крылышки от скверны нашей жизни, и тот архаровец, детдомовский удалец, взял верх над мятущейся, ранимой душой поэта, подтолкнув его к собственной гибельной черте, на краю которой он бывал уже не раз.

Свершилась еще одна трагедия в русской литературе, убыла и обеднилась жизнь на Руси, умолк, так и не набравший своей высоты, пронзительный русский национальный певец.

«Постойте! Поплачем!» — говорил древний арабский поэт много веков назад. Так давайте же последуем его призыву!

Станислав Куняев

ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ

Как это ни печально, но в последние несколько лет о Николае Рубцове, его жизни и посмертной судьбе, о его друзьях и недругах написано много глупостей, продиктованных когда невежеством, а когда и прямой злобой. Профессор В. Новиков (литературовед со стажем) наконец-то через тридцать лет после смерти поэта додумался до того, что Николай Рубцов — это «Смердяков русской поэзии». А сколько невежества и верхоглядства самоуверенного в иных публикациях о Рубцове!

Так, Елена Данилова, опубликовавшая в начале девяносто девятого года статью в «Независимой газете», говоря о памятнике поэту в Вологде, пишет: «Ясно, что скульптор Клыков стремился к полной реалистичности...» Неужели трудно было выяснить, что автором «вологодского памятника» является местный скульптор А. Шебунин, а не москвич Вячеслав Клыков. Да что взять с журналистки, которая, вспоминая случай, когда Рубцов на заседании работников образования в ЦДЛ бросил реплику, что, мол, Есенина изучать надо, делает вывод: «Год на дворе стоял шестьдесят третий. Не то время, чтобы упоминать Есенина». Серьезная газета и вдруг такую глупость мелет. Как будто на дворе был не шестьдесят третий, а двадцать седьмой год с бухаринскими «злыми заметками».

Поэт Лев Котюков в своих мемуарах «Демоны и бесы Николая Рубцова» из кожи вон лезет, стараясь переписать прошлое: «Не надо Кожинову верить публику, что он открыл нам поэта при жизни». А зачем Кожинову верить публику? Та публика, которая помнит шестидесятые годы, и без всяких уверений знает, как Вадим Валерьянович ценил Рубцова и любил его поэзию при жизни поэта. Стоит лишь вспомнить его выступления тех лет да заглянуть в его статьи.

А вот еще один домысел Льва Котюкова. Он пишет о Передрееве, который, пожалев для Рубцова рубль взаимы, мысленно произносит: «В арбатский дом, например к Кожиновым, дальше тебе хода нет». Я свидетельствую, что Рубцов не раз бывал и в кожиновском и в моем доме. Более того, однажды Передреев, Кожинов и Рубцов приехали за полчаса до наступления Нового года к отцу Кожинова. Были они уже в праздничном состоянии, и более всех — Рубцов. Когда же отец Вадима сказал сыну: «Ну, Передреев, бог с ним, а этот чересчур выпивший — нельзя ли без него?» В ответ Кожинов поругался с отцом, хлопнул дверью, и вся компания поехала встречать Новый год в общагу.

Как снежный ком, с каждым годом нарастает кампания по ревизии судьбы и жизни Рубцова. Вот и Виктор Астафьев к ней подключился и меня помянул несправедливым словом в февральском номере «Нового мира» за двухтысячный год. «Друзья, объявившиеся ныне во множестве у Николая Рубцова, в том числе выставяющий себя самым сердечным, самым близким другом поэта Станислав Куняев, не изволили быть на скорбном прощании. Они как раз в это время боролись за народ, за Россию, и отвлекаться на посторонние дела им было недосуг».

Зря Виктор Петрович разбрызгивает свою желчь. Лучше бы написал о том, как он однажды Коле Руб-

цову не дал переступить порог своей квартиры и, больше того, «помог» ему с лестницы спуститься. Раньше Астафьев охотно и со смехом рассказывал, что многие вологодские литераторы помнят. Сейчас же, держа нос по модному ветру «культы Рубцова», помалкивает.

Не буду подробно вспоминать, почему я не приехал в Вологду на похороны. Известие о смерти — дело всегда тяжелое, обессиливающее, надрывное. Не надо бы Астафьеву глумиться над моими чувствами тех печальных январских дней. Откуда ему было знать, что я думал и как переживал нашу общую утрату. Скажу только, что не «посторонними делами занимался», а некролог по просьбе Василия Белова в «Литературную газету» писал. Собирал подписи друзей и добивался того, чтобы в номер срочно поставили. Что же касается ядовитой реплики Астафьева о друзьях, «объявившихся ныне во множестве», куда он и меня зачисляет, то добавлю только следующее. Недавно я, будучи в Вологде, с радостью обнаружил в архиве мои три письма Николаю Рубцову. А я-то думал, что они пропали. Нет, сберег их Николай Михайлович, несмотря на свою безбытную жизнь. Видимо, дорожил ими. Вот они, эти письма, как свидетельство наших отношений.

«Здравствуй, дорогой Коля!

Как тебе живется в твоём прекрасном далеке? Скоро ли приедешь к нам, порадуешь нас?

Пишу тебе не только по велению души, но и по делу. Книжку твою я сдал уже давно в издательство «Молодая гвардия». Но пока ничего определенного они мне не говорят. В «Знамени» все стоит на месте. Я, видимо, заберу стихи и отнесу или в «Огонек», или в «Литературную Россию». Но я хочу, чтобы ты прислал мне еще

стихов. Хотя бы из сборника «Душа хранит», чтобы у меня их было побольше.

Толя уехал в Грозный вместе с Шемой. Игорь завывает Москву.

Пиши. Привет тебе от Гали.

Пьем мало, ибо нет ни денег, ни настроения.

Твой *Стасик*».

«2 сентября 1964 г.

Здравствуй, милый Коля!

Несказанно был рад твоему письму и спешу тебе ответить. Успокойся, никаких последствий наше поведение в ЦДЛ не имело, так как оно затмилось совершенно невероятным фактом: в тот же вечер какой-то крепкоголовый поэт разбил головой писсуар в уборной Дома литераторов. Так что ты остался студентом и Передре-ев также цел. Со стихами в «Знамени» еще нет ясности. Как только она будет — я тебе напишу.

Все мы живы-здоровы, чего и тебе желаем. Я даже сочинил несколько стихов. Вот один из них: «Если жизнь начать сначала...»

Обнимаю тебя. *Станислав*».

«Здравствуй, милый мой отшельник!

Поздравляю тебя с Новым годом. Рукопись на днях куда-нибудь отнесу. Она мне очень пришлась по сердцу. Дай бог тебе в Новом году новых радостей. Поклон от Гали.

Обнимаю. *Стасик*».

Все письма написаны Николаю Рубцову, еще неизвестному России поэту. С Виктором Астафьевым он познакомился лишь через пять лет. Так что не следовало бы красноярскому классику язвить по поводу на-

ших отношений. Впрочем, в новомировских воспоминаниях есть немало точных и душевных размышлений о судьбе и поэзии Николая Рубцова, а также — страстные монологи о Владимире Высоцком и нынешнем Останкине, под которыми я и сам готов подписаться. Но там же и столько глупостей наворочено о советской эпохе и скульпторе Вячеславе Клыкове и прочем, что поневоле подумаешь: «Куда там Новодворской или Сванидзе до Виктора Петровича! Поистине — «широк русский человек!»»

Александр Михайлов

О НИКОЛАЕ РУБЦОВЕ

Я познакомился с ним осенью 1965 года при обстоятельствах не совсем приятных для нас обоих. Как поэт он тогда еще почти не был известен за кругом своих товарищей, учился в Литературном институте имени А.М. Горького, куда я пришел на должность проректора по научной и учебной работе. Николай был студентом-заочником, в чем-то провинился, и ректор, Владимир Федорович Пименов, поручил мне побеседовать с ним.

Думаю, каждый легко представит, какой характер может носить беседа между проректором и провинившимся студентом. Во всяком случае, душевных нот в ней не звучало, хотя и взаимного недоброжелательства тоже не возникло. Я об этом говорю с уверенностью потому, что имею две книги — «Звезда полей» и «Душа хранит» — с дарственными надписями. А ведь первая встреча была не единственной трудной.

Теперь некоторые «биографы» Рубцова намекают на то, что поэт, мол, терпел обиды от администрации института. Демагогический прием.

Николай был труден в общении. Это хорошо знают бывшие студенты, учившиеся с ним. И его товарищи-воложане. Он сам страдал от этого, искренне раскаивался в своих проступках, снова срывался. И надо было много терпения и такта, чтобы помочь ему хотя бы

удержаться в институте, не попасть в какую-нибудь скандальную историю.

Уже после защиты дипломной работы, то ли во время государственных экзаменов, то ли перед их началом, я встретил Николая во дворе института и зазвал к себе в кабинет. Поспрашивал насчет работы, публикаций и прочих дел. Отвечал Николай как-то односложно, будто чего-то стеснялся. Разговор явно не клеился.

Мы попрощались за руку, и Рубцов, как-то неловко потоптавшись на месте, словно не зная, что делать дальше, направился к выходу. У самой двери остановился и, глядя куда-то в окно, глуховато сказал:

— Вы уж меня простите за художества... Много я вам хлопот доставил... А институт всегда добром вспоминать буду...

Потоптался еще, словно чего-то не договорил, слабо махнул рукой, досадуя на себя, и вышел.

Последние наши встречи состоялись в Архангельске и Вологде, в октябре 1970 года, незадолго до его трагической гибели. Тогда в Архангельске проходило выездное заседание секретариата правления Союза писателей России, а в Вологде, как продолжение, состоялись встречи писателей с читателями.

В архангельской гостинице «Двина» Рубцов зашел ко мне в номер и подал книжку «Душа хранит», изданную в «Советской России». Здесь же сделал надпись: «Александру Михайлову по-прежнему с уважением к его творчеству, с любовью, на добрую память. Г. Архангельск, 12/Х — 70 г. *Н. Рубцов*».

На этот раз разговор был беглым. Мы оба куда-то спешили. Но помню, что на мой вопрос — не собирается ли заехать в Емецк, на свою родину, Николай ответил: «На этот раз — нет. Но поеду туда непременно. Тянет, как птицу к своему гнездовью. Вологда мне дала приют, согрела мое сиротство, а тут я появился на свет, первый

раз на землю ступил...» Видно было, что вопрос мой хоть и взволновал его, но не застал врасплох.

А вот встреча в Вологде через несколько дней была грустной. Рубцов опять оказался замешанным в неприятной истории (еще в Архангельске), тяжело переживал. Говорили мы долго. Несколько раз я пытался перевести разговор на книжку «Душа хранит», которую к тому времени успел прочесть, считая, что Рубцов обогатил ее, по сравнению со «Звездой полей», несколькими значительными стихотворениями, но все же для новой книги этого маловато. Он согласно кивал, повторяя, что собирается подготовить книгу только из новых стихотворений, уже кое-что для нее есть...

Говорили мы очень откровенно, даже доверительно, не как учитель с учеником. Видно было, как Николай казнил себя за содеянное, но в словах его, в жестах, во взгляде уже проглядывало что-то безнадежное, горькое... Задним числом кажется, что он жил в предощущении трагической развязки. Может быть, это лишь кажется...

Писать воспоминания о младшем современнике сложно. Гораздо сложнее, чем о сверстниках или людях старше тебя. Писать воспоминания о Николае Рубцове, человеке редкого дара, ярче и органичнее других сверстников выразившего некоторые существенные стороны нашего бытия, но оставившего царапины в душах хорошо знавших его людей, сложно еще потому, что неизбежны в этих воспоминаниях горькие строки. Поэтому, сохраняя добрую память о Николае Михайловиче Рубцове, тем не менее с большим душевным подъемом пишется о его стихах, о его замечательном поэтическом даре.

Юрий Кузнецов

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Я в коридоре общежития иногда встречал Рубцова, похожего на тень, но не был с ним знаком. Наша единственная встреча произошла осенью 1969 года. Я готовил на кухне завтрак. Неожиданно вошел Коля. С утра его мучила жажда. Подставив под кран бутылку из-под кефира, он взглянул на меня и тихо спросил:

— Почему вы со мной никогда не здороваетесь?

Я пожал плечами, не зная, что ответить. Уходя, он добавил серьезным тоном с долей укоризны:

— Вот я — гений, но я прост с людьми.

Я опять промолчал, подумав про себя: «На одной кухне — два гения! Не многовато ли?»

Больше мы никогда не встречались.

По-своему это весьма впечатляющий эпизод. Если упустить из виду, что Николай Рубцов тогда уже был знаменитостью, а Юрий Кузнецов являлся обычным студентом Литературного института, кажется, даже без единой книжицы. А вот как уже мнил о себе...

ПО ЛЕСАМ ВЕТЛУГИ

В 1970 году на варнавскую годину собиралось множество народу. Я пригласил Рубцова приехать в Варнавин именно на этот праздник. И вот же радость! Иду по улице Продотрядной. Неожиданно из боковой двери почты, как птенец из гнезда, вывалился чем-то недовольный Николай. Ой был взъерошен и небрит, одет в рыжую замшевую куртку, затертую до глянцевого блеска. В руках держал чемоданчик, какими тогда пользовались демобилизованные солдаты или пэтэушники.

— Это — ты? — искренне удивился он. — Вот хорошо. А то как бы я нашел тебя в такой толпе?

— А что ты на почте делал?

— Да вот... — сконфуженно потрогал он щетину, словно прикрывая ее. — В поезде побриться не успел, с автобуса сошел, а здесь такая гулянка... Вот и пошел на почту: розетка там наверняка есть. А контора — закрыта.

— Ничего, походишь небритым. Все равно тебя здесь никто не знает.

— Да нет, Саша, — возразил он, мотнув головой. Поглядел на помятые в дороге штаны и еще больше устыдился своего вида. — Надо бы где-то привести себя в порядок.

Мимо проходили веселые, нарядно одетые люди, оглядываясь на Николая. И он, парясь в своей заса-

ленной куртке, нервно ощущал эти взгляды. Видно, очень устал. Большой лысый череп, перевитый вздувшимися венами, покрылся испариной. Напряженно-остро глядели темные глаза. Добрые и бесконечно ласковые в светлые минуты, они напоминали рассерженных шмелей, готовых ужалить. Сильные, говорящие глаза! Я успокоил друга:

— Ничего, потерпи. Сейчас придем домой, сядем за стол...

Вдоволь погостив здесь, отправились дальше. «Омик» легко нес нас по светлой глади Ветлуги в леса. Там, в деревне Ляленке, у моего хорошего знакомого, была куплена избушка и поставлены ульи на огороде. Туда-то мы и плыли. Мелькали по берегам сосновые счалы, перекликалось в женских руках шлепанье вальков. Наконец показался десяток домов, затерявшихся за старыми березами. Это — пристань Нижник. Тут нам и сходить.

Карасьим паром поглаживал закат присмирившую воду. Солнце скрылось за соснами. Шофер леспромхоза, отчаянный рыбак Леонид Курбитов, позевывая, постелил нам на повети. Заложив руки под голову, Коля жадно поглядывал на золотистых лещей, подвешенных на стропила вместе с рощами веников.

— Вот бы таких лещиков к нам на Добролюбова... К останкинскому пивку... — вздохнул Коля.

— А берите да ешьте. Не жаль такого добра, — сказал хозяин.

Грех обижать его отказом. Мы азартно принялись за лакомство, смачно отделяя мякоть от костей.

Утром чешуйчатое колено Ветлуги скрыли меланхолические ветви плакучих берез. И колеи старой лесовозной дороги повели нас прочь от реки в глубину леса — к Бархатихе. В низинах пыльные колеи переходили в лежневку, на выщербленных бревнах которой грелись

шустрые ящерки. Тошно пахло таволгой, серой ольхой. На дне лесных овражков мелодично позванивали ключи, так и манящие напиться хрустальной воды. Тут было сумрачно и глухо. В просторных же борах, поросших ландышем и толокнянкой, напротив, много света. Лишь вершины сосен гулко и беспокойно шумели. Казалось, наверху тешился океанский прибой, а мы здесь — на дне океана.

Подует ветер!
Сосен темный ряд
Вдруг зашумит,
Застонет, занеможет.
И этот шум
Волнует и тревожит.
И не понять,
О чем они шумят...

Не знаю, приходили ли на ум тогда эти строки поэту, идущему сейчас рядом теплой колеей. Проносились в сторону недалеких липовых урем пчелы или осы. И он провожал их пулевые посвисты тревожным взглядом. Срывал твердые оранжевые, похожие на апельсинчики, ягоды ландыша и собирал в горсть. Поднимал палец и останавливался — чу!.. Где-то в глубине леса тосковала желна. Кажется, его глубоко волновал этот вдовый клик лесной жалобщицы.

Казалось еще, что темные сливы его глаз напряженно отмякали при боровом свете. И сам он становился мягче, деликатнее. Да, именно деликатность все-таки была основным свойством его натуры. Если порой не в жизни, то в творчестве — несомненно. Шагая по лесу, мы болтали о всяких пустяках. Но я уверен: если человек болтает о всякой чепухе, значит, ему легко. Возможно, тогда, в борах и отпускало Колю.

Вот лес раздался — пошла сплошная кулига, поляна то есть, на краю которой, у мощной стены бора, серело несколько заколоченных изб. Ляленка. Подсвеченный

солнцем бор горел церковным золотом. В одной избе еще жила неприметная старушка, у которой мы поселились. Высился над утихшей деревней угрюмый, поросший лесом бугор.

— Лялина гора... — показала старушка темным перстом. — Клады Лялины там по сию пору в землянке лежат.

— Какие клады, бабушка? — усмехнулся Коля.

— Погоди, расскажу.

И слышали мы красивую лесную сказку о Ляле-разбойнике и его кладах, о лесной девке и прекрасной княгине Лапшангской, о молодом атамане Бархотке. Даже не став дослушивать старушку, Коля сразу же загорелся:

— Я обещаю тебе, Саша, написать об этом. Только — по-своему.

— Ты посмотри, тут и местность как обозначена: речка Ляленка, деревня — Бархатиха. А самая распространенная фамилия — Шалухины.

— Это уже не так важно.

— Что же было действительно важно?

Мне о том рассказывали сосны
По лесам в окрестностях Ветлуги,
Где гулял когда-то Ляля грозный,
Сея страх по всей лесной округе.

Это из его «Лесной сказки», которую довелось прочитать уже после гибели поэта. «Рассказывали сосны...» Хорошо!.. Вернуть бы те несколько дней, проведенных с большим поэтом... Я часто думаю теперь, что, возможно, и говорили бы мы о другом, и отношения бы наши сложились иначе. А как — иначе? Нет, нельзя дважды войти в одну реку. И наверно, хорошо, что нельзя.

Помогли старушке обкосить межи на огороде, смахнули низинку с плотной мясистой травой. А остальное

время бесцельно слонялись по деревне и вокруг нее. Наверно, я мешал Коле. Уже затем понял, что ему хотелось бродить одному. А я хотел быть с ним... Ходили по грибы. В конце июня что за грибы — кое-где по мочажинам светлели водянистые подберезовики да подсохшие на солнце, обваленные песком маслята на сосновых гривках. Забрели в лес. Коля характерно прищуривался и, словно колхозный бригадир, выбрасывал вперед указательный палец:

— Ты иди в ту сторону, а я пойду в эту.

Но сколько бы я ни кружил по лесу, неизменно выходил на его рыжую курточку. Его высокий лоб мигом покрывался морщинами. Он пристально смотрел на меня, часто и раздраженно смаргивая. Тоже характерно, будто в глаза что-то попало.

— Чего тебе от меня надо? Я же сказал тебе: иди в ту сторону! — резко и даже зло выговаривал он. И снова по-бригадирски направлял меня куда-нибудь подальше. А мне-то, восторженному наиву, сосунку литинститутскому, так хотелось бродить по лесу именно с ним, делиться мыслями, рассуждать о серьезном.

Раз все-таки дошло до спора о поэзии. Я говорил, что и в литературе существует прогресс в развитии формы: рифм, метафор, интонаций и так далее. Дескать, в пушкинские времена все уже не так архаично и неуклюже, как у Сумарокова или Хераскова. И во времена Блока или Пастернака напиши «под Пушкина» — тоже будешь архаичен. Вот когда глаза Рубцова засверкали антрацитом, вот когда он по-настоящему вспылал.

— До Пушкина, до Пушкина! — передразнил меня. — А до Державина?

— А что — Державин?

— Лучше и не раздражай! Ты послушай, как написал он: «Где стол был яств, там гроб стоит!» Сильно?

— Да ведь не пишем же мы теперь гекзаметром!

Он махнул рукой, подчеркивая бесполезность разговора. Все равно лучше Гомера никто не написал «Илиаду» и «Одиссею».

— Когда-нибудь ты его поймешь.

Понял. Вся его поэзия убедила в этом: духовность стиха — первейшее дело. Форма может оставаться и консервативной.

Пошли в деревню Бархатиху за продуктами. Вдруг он уставился на окна, где в ржавых консервных банках из-под зеленого горошка цвела герань. Кусты яркие, алые, пышные! Вот это — чудо! Невольно залюбовался и я. Слышу четкое, хлесткое, как удар:

Люблю цветы гераны!
Все остальное — дрянь!

Глядя на меня, задорно сощурился.

— Хорошо, смачно, — пошутил я. — Но другие-то цветы чем хуже?

— Да нет, — улыбнулся Коля. — Цветы-то, ты знаешь, я вот как люблю. Почти все. А тут — герань. Сразу детство вспомнилось. У нас в Никольском было много на окнах герани. В том числе и в детдоме. В горшках, таких же банках. Приклеили этому цветку ярлык — «мещанский». В смысле плохой, значит. А ведь мещане — это простые, в большинстве порядочные люди, жители тихих улочек и слободок. Представляешь: они утопают в герани! Тихие, мирные слободки. Да это же — поэзия! Целый океан поэзии!

В то лето он часто вспоминал свою поездку на Алтай, на Бию и Катунь. Много рассказывал о чудесном Телецком озере. А однажды вдруг выпалил:

Мое слово верное,
Мои карты — козыри.
Моя смерть, наверное,
На Телецком озере.

Вот каким образом он выразил свое восхищение этим чудом природы!

От безделья рыбачили на Ветлуге. Полдневная жарынь, рыбешка попряталась от нее, явно не собираясь клевать. Оставили удочки и поднялись на яр. Море покосных лугов. Сконфуженно высился над другими травами молодой стебель конского щавеля, надменный ирис, горят из травы кровавые капельки смолки, туда-сюда болтаются, как неприкаянные, бледные чашечки колокольчиков. И зной звенит во все свои звонки... Легли на животы, в душистое это разнотравье, разболтались о том, о сем...

— Давай-ка стихи сочинять, — вдруг предложил Николай. — Ну, не серьезно, а так, понарошку. Иной раз делаешь как бы понарошку и лучше получится. Чаще всего.

— А с чего начнем?

— Как с чего? С этого самого. Мы лежим у речки? Да. Значит, так: я лежу возле тихой речки и... смотрю, как журчит вода... Где-то рядом кричат овечки...

— И гудят вверху провода.

— Эта строчка не вписывается. Не тот ряд.

— А где ты увидел овечек? В лугах перед сенокосом?

— Это не важно.

Из-за разницы творческих взглядов больше мы ничего не сочинили. Но вот начальные строки его стихов:

Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.

Песчаный путь в еловый темный лес.
В зеленый пруд упавшие деревья.

Живу вблизи пустого храма,
На крутизне береговой...

Какая спокойно-мощная ритмика! И так далее. Давайте-ка снова перелистаем какой-нибудь из рубцов-

ских сборников. Большинство стихов начинается с простой и ясной констатации обстановки, места.

На Ляленке к Рубцову подошла одна бойкая старуха. Тут, неподалеку, пасла колхозных телят со своим стариком. Я точно помню: была у нее на щеке бородавка, поросшая светлыми волосками. Уже не первый раз подкатывалась она, прося, чтобы Рубцов написал ей какое-нибудь стихотворение.

— Зачем вам? — подозрительно присматривался к ней Николай.

— А я внучкам почитаю.

— Потом напишу, — резко бросал Николай и сразу же отходил — старуха ему явно не нравилась.

— Почему ты не хочешь ей что-то написать?

— Она пойдет потом с этими стихами и будет всем показывать. А то еще к председателю пойдет, будет чего-нибудь требовать.

— Да вряд ли...

— Ты еще не знаешь этих старух. Они ведь не все добрые, — мрачно бросил он и закончил разговор.

Где, какие старухи его обидели? Откуда родились такие страхи:

О, Русь! Кого я здесь обидел?
Не надо слушать злых старух...

Вечером Коля ходил по деревне и наборматывал. Он не записывал стихи сразу, сначала их наговаривая, складывая «на память».

Одна в деревне этой чистой
Старушка грустная жила.
И на лице ее землистом
Росла какая-то трава.

Наша старушка была бойкой, а не грустной. Поэтому заменил Коля на более нейтральный эпитет — древняя. В чистой деревне не может быть злых старух. А вот

во мгlistой... Впрочем, четверостишие рождалось из образности последних строк. Он ухватил образ: землистое лицо — трава. Раз десять вслух при мне повторил эти слова. Шлифовал, прислушивался, как звучат, а уж потом начал сочинять две первые строчки. Само же стихотворение «Уже деревня вся в тени», возможно, и не в Ляленке родилось. Это необязательно.

В горнице моей светло-о-о...
Это от ночной звезды-ы-ы...

Приятный женский голос с прибалтийским акцентом, красиво переливаясь, выводил, вытягивал, как проволоку, песню на стихи Рубцова «В горнице». Он пел не так. Просто и проникновенно, с четким завершением строк, словно прихлопывая их. Как бы припечатывая строчки. Так же четко, как в стихах про ту же герань или Телецкое озеро. Но не было ничего похожего на заунывные переливы певицы. Была светлая вечерняя печаль, усталость, надежда — вот что было в простых, но полных бесконечной поэзии строках.

Однажды я напел «Горницу» профессиональному композитору. И знаете, что он сказал? Вполне профессионально. Вот как! Возродить бы тот рубцовский мотив: он ведь у многих на памяти, а возможно, где-нибудь в Вологде или Москве есть и запись его.

Главный герой «Змеелова», задумавший бороться с кланом торгашей, поет «Журавлей» Рубцова. Удачно — в лад и тон стиху подобрана музыка, хорошее исполнение. Песня, что называется, играет на фильм. И все же — то, да не то. Рубцов-то ведь пел своих «Журавлей» совсем по-другому. Если бы, если б найти записи рубцовского пения!..

В деревне Ляпуново, где мы жили с моей матерью, он увидел гармонь-хромку с разорванным ремнем. Сразу, как ребенок, потянулся к ней. Наладил ремень, связав

его обрывком бельевой веревки, развернул меха. С нарочитой хрипотцой, с «подтрясом» играя ухаля, запел:

Финочкой забрякали.
Отец и мать заплакали.
Не тужите, отец-мать, —
Сырой земли не миновать.

— У нас на Сухоне поют такие отчаянные частушки. Они так и называются «хулиганскими». Я их много знаю. Хотите, еще спою.

И он запел не частушку, а свою «Осеннюю песню». Запомнились взрывные строчки, не вошедшие в сборники:

Я в ту ночь полюбил
Сумасшедшие листья.
Все запретные мысли,
Весь гонимый народ.

Судьба гнала его самого, как сухой листок, а он, жалея всех гонимых судьбой, видел в них себя. Недолго уже осталось петь с таким надрывом, точно бередя струпья все не заживающей раны.

— Ты знаешь, — признался он как-то, — мне одна заочница, наша поэтесса, сказала знаешь что? «Возле тебя, — говорит, — всегда такое беспокойство охватывает... Прямо места не нахожу себе». Правда это?

Не помню, что я тогда ответил. Наверняка лишь пожал плечами, хмыкнув. Согласиться бы с той поэтессой...

— Ты ведь, Саша, амебно живешь. В общежитии тихо, никуда не ходишь. А я оч-чень бурно прожил. Да, бурно. Ведь у меня покоя не было — это не по мне.

Постоянная внутренняя тревога, ожидание «уже не лучших перемен» и вырывались наружу, и заражали окружающих. Другое дело, что окружающие этого не замечали или не хотели замечать, а то и слишком были заняты собой.

— Знаешь, однажды мне было очень тяжело... Ну, понимаешь, просто неумогу. Крутом прижимало: в институте, с жильем... Сам же знаю, как пришел к Яшину. Он почувствовал мое состояние и позвал гулять. И представляешь, долго мы гуляли по темным улицам... Очень долго... Он тогда ничего не сказал мне, пытаюсь утешить. Просто ходили, молчали, и все... Но мне так легко после этого стало. Вот мудрый человек...

Думаю о его житейском неуюте и опять вижу Рубцова на ветлужском приплеске, на косе ослепительно-чистого, точно провеянного песка. Худое, непривычно белое тело, неестественно вспученный живот. Печень? Длинные, до колен, черные тусы. Коля конфузливо оправдывался:

— Не загорал несколько лет... Как-то не доводилось. А теперь почему-то не осмелею. Как девушка...

Забрел по колено в воду, постоял, черпая ее ладошкой, и сразу же вышел. Животом лег на песок.

— Вот погреюсь, и хватит. Не люблю я эти пляжи. Ты можешь себе представить сельского жителя, крестьянина, лежащим на пляже и загорающим? Я вот никак не представляю, — смущенно признался он.

Полежал немного, досадливо отмахиваясь от назойливых слепней. Стал одеваться, бормоча:

— Не люблю я ни весну, ни тем более — лето, когда все цветет и пахнет. Не по мне это. Вот осень я люблю. Слякоть, дожди — милое дело... Тут я в своей тарелке...

Так он высказывался не раз. И как же щемяще — много серой воды, много серого неба и немного погой, нелюдимой земли. Это сиротское состояние природы полностью отражено в его стихах!

И снова Ляленка. В тот день на казенном уазике, заляпанном грязью, приехали два солидных мужика в плащах с капюшонами. Они держали на Ляленке большую пасеку. Мужчины привезли для согрева спирт.

В это время Рубцов, задумчивый, обособленный, бродил по окрестностям. Его рыжеватая курточка мелькала то здесь, то там среди сосен. Он гулял с палочкой, постукивая ею по стволам деревьев, что-то на-свистывал. Наверно, сочинял, «наборматывая» стихи. Подошел к дому просветленный. Но вдруг словно туча нашла — увидел в заулке уазик приезжих. Глаза напряженно, остро заблестели. С беспокойством уставился на меня. Что-то разладилось в нем.

Приезжие, уже прослышав о поэте, поспешили с ним познакомиться и наперебой стали прославлять Ляленку, красоты здешних мест. Коля морщился. Нас пригласили за стол, на котором стоял спирт, свежий мед, сковорода с жареными карасями. Коля восхитился:

— Трапеза как у бояр!

Это он попробовал пошутить. Что-то не получалось. И спирт выпил с неохотой. Даже пытался отклонить стопку. Видно было, что затеянное не ко времени застолье раздражало его, что-то разлаживая в душе. Вторая стопка, третья. Беседа со щедрыми пчеловодами не получалась. Как будто щелкнул какой-то тумблер — одна колкость, вторая. Назревала ссора. Наконец Рубцова уложили спать, постелив на полу, на домотканом тюфяке, набитом сухим сеном, которое всю ночь тревожно шуршало. Поэт не спал, ворочался и стонал. Во тьме вспыхивали спички и долго маячил огонек сигареты.

Утром, отказавшись похмелиться, мы ушли из Ляленки. Всю дорогу до Ветлуги Рубцов хмуро молчал. Лишь когда сели на угорчике под старыми березами и речной ветерок обласкал нас, он в сердцах выговорил:

— Всю плешь мне переели твои пчеловоды! Рубли лопатой гребут с этих пасек, а все туда же: «Природа, природа... Ах, взгляните туда — какая красотища! Взгляните сюда...» Тошнит. Выпить бы, так и сельма-

га-то здесь наверняка нет. Или, как всегда, ржавый замок на двери.

И вот бойко бежит наш «Омик» мимо цветущих берегов, опять топорщится вода за кормой, и нас обдает роскошными брызгами, словно пригоршнями серебряных монет. Рубцов, сощураясь, глядит на воду и лучезарно улыбается. Наступил наш день — солнышко взошло.

Бежит, прорастая барашками, шустрая волна вдоль борта, не желает отстать от парходика. Скользит по речному плесу облачная тень. Вот накрыла наш парходик. И свинцово потемнела вокруг вода, испещренная мелкими черточками волн. Сумрачно присмирели луга, точно насторожились раскидистые дубы над береговым срезом, вдоль которого мы стремительно мчимся. Только на далеком горизонте светятся свежими крышами деревеньки, золотятся под солнцем хлебные поля. Там светит солнце, а здесь — тень. Будто предчувствие грядущего.

Вижу его выходящим на осенний морозец из литинститутского общежития. Потертое пальцецо, беретик. Под мышкой — трехрублевая папка с «молнией». Зовет меня в город по делам. Я знаю, что в папке стихи для журналов. После «Звезды полей» он идет нарасхват. В троллейбусе третьего маршрута долго шарит по карманам. Протягивает мне целковый:

— Возьми талоны. Мелочи нет.

— Так доедем.

— Нет. Я уже вышел из этого возраста, — хмурится Николай, — чтобы ездить без билета. Иди и бери.

Забирает у меня стопку талонов, щелкает компостером, на Вадковском переулке говорит:

— Давай выйдем, попьем пивка. Волосы все-таки трещат после вчерашнего, хотя их и нет, волос-то... Ты, случайно, не знаешь этих ребят с заочного?

— Каких?

— Ну, с которыми пил.

— В глаза не видел.

На пиво истратили всю мелочь, оставшуюся от рубля. Коля наотрез отказался снова садиться в автобус, чтобы проехать несколько остановок. Так и шли до Новослободской, где находилось издательство «Молодая гвардия». Попутно он поучал:

— Ты еще не бывал в журналах? Поэтому я буду говорить, а ты — молчи. Лучше всего посиди где-нибудь в уголке.

Но даже оттуда я видел, как вокруг Рубцова закрутились какие-то люди, что-то настырно предлагая или прося. В «Советском писателе» у окошка кассы — очередь за гонораром. Стояли солидные люди с седыми и даже зеленоватыми шевелюрами. У всех дорогие портфели, кожаные папки в руках. Модные, разных расцветок, будто в тропическом лесу, куртки и плащи с множеством пуговиц. Упитанная публика, каждый вдвое мощнее Николая, который постарался незаметно приткнуться к концу очереди. Однако седовласые джентльмены, кажется, затылками видели его попытки. По очереди загудели шепотом, словно подозревая в нем карманника.

Николай мужественно выдержал все до конца, позвал меня и старательно, как первоклассник, морща лоб, отсчитал мне тройки, которые необходимо разнести в общежитии благодетелям, выручившим в трудную минуту.

— Только не подведи меня, слышишь? А это тебе — до стипендии, — протянул он десятку.

— Спасибо. А ты сам-то куда?

— Да я тут...

— Меня на берешь?

— Извини, нет. Вообще ни к чему тебе привыкать к этому.

Две или три личности, сомнительно небритые, уже крутились возле него. Рубцов пояснил:

— Это, Саша, свои поэты.

Мы расстались на углу возле гастронома «Армения». Поэты, обгоняя один другого, заглядывали в лицо Рубцову, потом затрусили вниз по Тверскому бульвару. Хапнули первое встречное такси. Коля уселся впереди, вперив в пространство прищуренный взгляд, невидяще пролетел мимо. Дешевенький шарфик ухарски обматывал тонкую шею и длинным концом был закинут за плечо.

Опять вспоминается тот страшный обрыв, где Ветлуга выходила к старице, сплошь заросшей кувшинками, рдестами, стрелолистом. Здесь было жуткое царство пудовых обомшелых щук, увешанных блеснами, как драгоценностями, карасей размером с валенок. А на страшном обрыве, который ветлугаи звали все-таки поласковее — угором, высились вековые березы. Сплошное море листвы, которая горячечно вскипала под ветром. Листва была настолько обильна, что сквозь нее с трудом просматривались грачиные гнезда размером с тележное колесо. Мы сошли с парходика. Рубцов уже не серчал, не морщил в напряжении лоб. Но стоило мне вякнуть про соседскую библиотеку, он конфузливо отмахнулся:

— Да нет!

— Там знакомые девушки знают и любят твои стихи. Я им о тебе рассказывал. Вот будут рады увидеть живого поэта!

— Да что ты, как банный лист, прости господи. Лучше бы показал, где тут чайная. А то — библиотека... Не пойду я в таком виде зачуханном да еще с запахом. И тебе не советую. Надо все-таки уважать людей. Сейчас мы с тобой лучше в чайную пойдем.

Свет и тень, свет и тень... Вот и набежала она на это скромное повествование. «И я пришел, и грянули ста-

каны!» Слышали ли мы, его друзья, жуткий душевный скрежет, когда он поднимал эти стаканы? Сказала ли единая душа: «Стой, Коля, не пей!» Выплеснула ли к черту зелье? Нет, никто этого не сделал. Как дитяти возле новой игрушки, суетились, вертелись возле него, из кожи лезли вон, чтобы похлеще угостить.

«И думал я, какой же ты поэт, когда среди бессмысленного пира все больше гложет гаснущая лира...» Эти, видимо, много мучившие его строки он относил не только к случайным сотрапезникам, но в первую очередь к самому себе. Пир был вот именно бессмысленным: скупо отпущенное время проваливалось, как песок в часах, в запойное безумие и лишь набирало обороты. В чайной — в разлив и на вынос — всю лилась водка, вермут и портвейн, пиво. Осоловелые механизаторы в грязных сапогах слонялись от стола к столу. Скопище техники стояло возле чайной, будто кони у коновязи. А Коля распекал меня:

— Зачем ты пьешь? Такой молодой и уже в стакан смотришь! Нет, я тебе не налью. Сам выпью, а тебе — ни капли. Ты еще ничего не написал, чтобы пить! Понял, сосун?!

На другой день автобус увозил его из Варнавина. Тихий, лысиной похожий на младенца и старика одновременно, он как-то испуганно смотрел на меня. Кондукторша, немилосердно окая, начала выпроваживать меня прочь. Мы не успели обняться, поцеловаться, оставив это на будущие встречи. И вот 19 января 1971 года. Крещенские морозы. И пророчески-горькие строки, резанувшие сердца многих его друзей и читателей:

Я умру в крещенские морозы,
Когда стонут и трещат березы...

В точку попал, в самое яблочко.

Морозная Вологда, визгливый скрип валенок, оканье горожан. Каким-то домашне-деревенским показался тихий русский городок, столбами поставивший дымы из печных труб. Дымы почему-то были окрашены в розовый цвет.

Виктор Астафьев повел нас по городу. В голове что-то гудело, страгивалось. Все невесомо плыло перед глазами — то ли от бессонной ночи в поезде, то ли от ужаса совершившегося. Начал перепархивать снежок. Значит, спадает мороз. Снежинки бабочками садились на рукава. И в это время мы вышли на площадь. В поблекшем небе сиял купол собора.

— Храм Софии... Так вот он, этот дивный храм!..

Снежинки вели перед ним хороводы, уже обметали купол возле креста пухлыми сугробиками, летели все гуще, кучнее. Такой новогодний снегопад. Возникло странное ощущение, будто по всей России так же идет снег.

Снег летит на храм Софии,
На детей, а их — не счастье!
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть!

От этого легче становилось на душе. Точно сам Коля верховодил снежными хороводами откуда-то из своей вечности. И думалось, думалось, сколько еще будет валить над Россией таких праздничных снегов, грустилось и радовалось одновременно...

Виктор Коротяев

ГИРЯ ДОНШЛА ДО ПОЛУ

Очень долго казалось, что вот прозвенит звонок, я открою дверь и на пороге увижу его — тихого, похудевшего, с внимательным взглядом и почему-то виноватой улыбкой.

— К тебе можно? — спросит он настороженно.

А потом будет долго курить, кружить по комнате и говорить, говорить... И я пойму, как он, в сущности, одинок и как ему не хватает обыкновенного человеческого счастья. Слова о том, что талант всегда одинок, — мало кого утешают. Талант — прежде всего человек. То и дело в моем доме названивает звонок, но я уже никогда не дождусь того заветного, раннего и осторожного, — звонка Николая Рубцова.

А он, бывало, придет с мороза, достанет из моей холостяцкой кладовки полосатый поролоновый матрас, положит его на пол поближе к длинной ребристой батарее, прижмется спиной и блаженно улыбнется:

— Почти как на русской печке!

Кто первый пустил это дурацкое прозвище «шарфик», которое с особым смаком повторяют столичные снобы в меховых шубах и теплых шапках, — не знаю. Но это настолько бестактно и оскорбительно по отношению к Рубцову. Не замечают ревнители изящной словесности уничижительного оттенка в этом прозвище. А потом Рубцову просто-напросто всю жизнь не

хватало тепла. Тем более при скудных харчах. Вот он и ежился в вечном своем демисезонном пальтишке и кутался в неизменный простенький шарф. Но никогда не жаловался, стеснялся признаться в своей необеспеченности и неустроенности. Если ему нужно было занять червонец-другой на прожитие, он мучился и не знал, как произнести это вслух, и обычно, улыбаясь, предлагал:

— Давай будем переписываться.

И, прилаядься к краешку стола, в самых застенчивых и неуклюжих выражениях излагал свою нужду: «Не можешь ли ты мне на некоторое время выделить...» И кто понимал его, тот никогда не отказывал.

Когда мы узнали о гибели Николая Рубцова и с разрешения следователя Меркурьева пришли с Василием Беловым и Александром Романовым в квартиру поэта, чтоб перебрать и унести рукописи, то неожиданно в письменном столе обнаружили последние его двадцать два рубля наличными и ни копейки на сберкнижке. Невольно подумалось, что если бы он остался жив, то именно с этой суммы ему пришлось бы начинать новый день.

Но его уже не было в живых, и новый день мы начинали без него. Начинали с горечью и ожесточением, стараясь не смотреть друг другу в глаза, а если и смотрели, то сурово и требовательно, словно спрашивали: как же мы допустили такое?

Этот же вопрос задавали много раз нам люди близкие и сторонние, но ставить вопросы — особенно такие — проще всего. Не то что на них отвечать. И приходилось защищаться тоже вопросом: «А как же вся Россия не могла спасти от гибели Пушкина? А за ним — и Лермонтова?» И начинался длинный и путанный разговор о том, что время другое, обстоятельства — тоже и так далее... Знаем мы эти разговоры!

А моменты такие, безусловно, были... Ведь приходил он в редакцию газеты, и не однажды, и не случайно спрашивал: когда пойдет его подборка? Значит, ее скорейшее появление было жизненно важно для него, и можно было — и нужно! — поторопить редактора с напечатанием, попросить бухгалтерию выплатить аванс. Да не какой-нибудь десятирублевый, а солидной, как настоящему поэту, вполне доказавшему свою состоятельность. Можно было это сделать? Безусловно! Но вечно мешает нам то ли врожденная невнимательность, то ли благоприобретенный формализм, то ли обыкновенное наплевательство на все, что лично нас не касается...

А разве нельзя было поостеречься от надвигающейся грозы? Ведь многие чувствовали по запаху ее приближение. Одна знакомая прислала поэту новогоднюю открытку с недвусмысленным текстом: «Береги свою голову...» А я даже стихи об этом начал. При его жизни... Они напечатаны теперь в книге «Солнечная сторона» да и в некоторых других:

Потеряем скоро человека,
В этот мир забредшего шутя.
У законодательного века
Вечно незаконное дитя.
Тридцать с лишним лет как из пеленок,
Он помимо прочего всего
Лыс, как пятимесячный ребенок,
Прост, как погребушечка его...

Сам испугался написанного: «Что это я раскаркался раньше времени?» И — бросил. Дописывать пришлось вскоре. Но уже после смерти Рубцова.

Отчетливо виделось, что не по себе он выбрал «пассию». Слишком вспыльчива, неуступчива, яра. Да и неопрятная какая-то вся, если говорить о чисто женских качествах. «Не то бы ему надо, не то...» — страдальчески морщились друзья. Но не полезешь же со своими

советами в таком деликатном деле. Вот и доинтеллигентничали...

Больно говорить об этом и лучше кончить. А вспомнить что-нибудь повеселее. Пусть даже с некоторыми временными перебоями. Помню, как пришли в редакцию газеты «Вологодский комсомолец», где я работал литконсультантом, стихи Николая Рубцова. Быстро ответил ему, очень хорошо отозвавшись о стихах, и попросил при случае зайти в редакцию. После отзыва о стихах, которые готовились к обсуждению в скором времени на совещании молодых писателей нашей области, приписал чернилами: «Дорогой Коля Рубцов! Я уже много слышал о Вас хорошего и много (впрочем, так ли уж много?) читал Вас. Мне бы хотелось увидеться с Вами и поговорить. Буду надеяться, что это когда-нибудь случится...» Хотелось познакомиться лично с автором уже тогда написанных строк:

Взбегу на холм
и упаду
в траву.
И древностью повеет вдруг из долу,
Засвищут стрелы будто наяву,
Блеснет в глаза кривым ножом монгола!
Пустынный свет на звездных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя!..

Таков был ранний вариант ныне хрестоматийного стихотворения. А потом был семинар молодых литераторов в Вологде, где мы наконец и познакомились лично.

С людьми Николай Рубцов сходилась непросто и не сразу, хотя за его плечами был детдом, который, казалось бы, должен приучать к большей контактности. А возможно, эта трудная сходимость касалась только литераторов, к которым он относился зачастую подо-

зрительно и даже недружелюбно. Ведь не однажды я видел, как он запросто подходил на улице к простым мужикам, прося прикурить, и так же запросто завязывал разговор и с явным удовольствием продолжал его и развивал. Но литераторы — это не просто мужики.

Мне повезло: мы сошлись быстро и оставшиеся годы жили широко и дружно. Не скованные никакими цепями — ни семейными, ни бытовыми, — могли легко подняться и покатить либо по грибы, либо на рыбалку. А еще он любил прийти ночью и предложить:

— Поедем к твоей маме...

Она жила тогда в Череповце, куда ходил пригородный поезд в три часа ночи. Я понимал его, не помнившего — по существу, не знавшего, — что такое прикосновение материнской ладони к твоим волосам, плечу, щеке...

Мы объявляемся на пороге — и вот уже нас кормят горячим куриным бульоном, жарят котлеты и предлагают отведать вчерашних пирогов. Рубцов тает от переполняющего чувства благодарности и с горечью спрашивает:

— Александра Александровна, ну почему жены-то не могут вот так?

— Могут, Коля, да не хотят. Постарше будут — тогда поймут.

Но такие ответы его не устраивали.

— Пока они поймут, я уже, может, помру.

— Ну что ты, Коля, что ты!

Матери хочется перед работой еще часок соснуть, и она предлагает:

— Давайте укладываться, ребята. Ведь наверняка всю ночь не спали.

Это — точно. Ночной пригородный поезд ходит всегда пустым. Редкий полуночник войдет в вагон и через остановку-две выйдет. И опять мы одни, и можно хохо-

тать и резвиться сколько влезет. Благо проводница спокойная и сама не прочь покемарить в собственном купе.

А Рубцов уже вошел во вкус и сыплет историю за историей, экспромт за экспромтом: на это он был большой мастак. Мы долго не могли угомониться. И матери приходилось на нас прикрикнуть: «Спать!» И, переваливаясь через него, я плюхался на широкий диван, который уже постелен для нас. Рубцов бурчит:

— Ну, медведь!

Предлагаю продолжить нашу дорожную игру:

— Срифмуй со словом «балдеть».

— Тогда не мешай.

Он молчит несколько минут, потом читает:

Кто-то в верности партии клялся,
Кто-то резался с визгом в лото,
И стремительно в ночь удалялся
Алкоголик, укравший пальто.
В это время заснул Коротаяев,
Как в берлогу залегший медведь,
Потому что у строгих хозяев
До утра не позволят балдеть.

Какой уж тут сон! Мы, повизгивая, хохочем, пока мать снова не выйдет из соседней комнаты и не призовет к нашему благоразумию.

Когда она возвращается с работы, мы идем втроем гулять, и Рубцов, больше, конечно, для матери, чем для меня, без конца рассказывает, как служил на флоте, жил в детдоме, первый раз влюбился. И я понимаю: он с ней говорил так, как если бы говорил со своей матерью; и когда слышу речи о том, что Рубцов ни перед кем не раскрывался до конца, — всегда вспоминаю эти прогулки.

В 1969 году меня пригласили учиться в Москву на Высшие литературные курсы. Я передал свои немудреные обязанности литконсультанта по газете Николаю Рубцову:

— Конечно, Коля, сорок рублей — не велики деньги, но все-таки твердый заработок хотя бы на хлеб.

Он согласился. Но проработал недолго. Да не очень и держался за такое место: у него в Москве готовилась к печати новая книга «Сосен шум». Он просил меня зайти в «Советский писатель», где у меня тоже была на выходе книга стихов, и узнать, как там идут его дела. В рубцовском архиве каким-то чудом уцелело одно из моих писем той поры. Вот оно.

«Коля!

Заходил я тут на досуге в «Советский писатель». Спросил, как твои дела. Говорят, все нормально. Дело идет к набору. Передали тебе отпечатанные, но не вычитанные стихи, которые пойдут. Но предупредили, что это еще не окончательный вариант. Это высылают экземпляр просто тебе от Михаила Павловича Еремени. Он жалуется, что у него украли подаренную тобой «Звезду полей». Если найдешь свободный экземпляр, то пошли. Уж больно хороший мужик. И любит он тебя по-настоящему. Я скоро приеду и сам подарю выправленный свой «Жребий». Так что до встречи.

Твой *В. Коротаев*. 26.11.69 г.»

Я нарочно передаю текст письма так дотошно. Хочется во всех наших писаниях прежде всего точности. Потому что о Николае Рубцове и так наплетено слишком много. И наша задача — всеми силами противостоять этому мутному потоку. А средство у нас одно — правда, точность, документальность. Ведь не исключена возможность, что наши беглые заметки кому-то пригодятся и в будущем, потому что мы были живыми свидетелями могучего взлета русского таланта.

Наши встречи в Москве были редкими, но запоминающимися. Однажды Николай Рубцов ночевал у меня.

Перед этим мы долго и радушно посидели в компании его поклонников, а наутро я должен был лететь в длительную командировку в Сибирь, где до этого ни разу не бывал и рвался туда. Уже были получены командировочные деньги и удостоверение. Наутро нам обоим так не хотелось прощаться, что мы решили: Сибирь никуда не уйдет, и рано или поздно мы ее посетим, а дружба — дело и редкое, и деликатное, и неизвестно, долго ли нам дано ею наслаждаться. С этим решением и спустились, не торопясь, с седьмого этажа общежития Литинститута и отправились на поиски новых радостей.

Вспоминая теперь тот случай, я утешаюсь тем, что не улетел в Сибирь: нам действительно осталось дружить очень мало.

Накануне Нового, 1971 года я приехал в Вологду на зимние каникулы. Рубцов подждал свою дочку Лену с мамой в гости, приготовил елку, хотя заранее не стал ее наряжать. Видимо, хотел этот праздник подарить самой девочке. Но праздника не получилось: дочь не привезли. И так вышло, что Новый год мы с Николаем Михайловичем встречали врозь. Наутро я со своей невестой пришел его проведать. Рубцов был не один. Они всю ночь просидели вдвоем со знакомым художником и были угрюмы. Но хозяин встретил нас радушно, достал свежего пива, угостил, старался развеселить. А мы пытались сделать вид, что нам действительно хорошо, и беззаботно болтали, но мешала веселиться ненаряженная елка, сиротливо стоящая в переднем углу. Но — ничего! Мы знали, что скоро пошумим на славу, поскольку нами были замыслены сразу две свадьбы и была договоренность: сначала он развертывает гармонь на моей, а потом я — на его. С этими радужными надеждами я вскоре уехал на недельку к матери в Череповец.

А дальше началась мистика... На другой же день почувствовал странную и страшную тоску, не мог найти

себе места и понял, что меня неодолимо тянет обратно в Вологду, на недоуменные вопросы встревоженной матери я только ответил: «Надо!»

И уехал. Уже в поезде почувствовал облегчение, успокоился. Потом, после грянувшей трагедии, не однажды в мельчайших подробностях восстанавливал свои порывы, движения и, конечно, чувства и понял: что-то требовало, звало меня быть в роковую минуту поблизости, если уж ничего нельзя изменить.

На следующий день, 19 января, рано поутру ко мне позвонили. Вошел работник «Вологодского комсомольца» Женя Некрасов, бледный, с трясущимися губами, с мученическим взглядом:

— Ты пока ничего не знаешь?

И я ему, еще боясь поверить, но зная, что это — так, почти утвердительно ответил:

— Рубцов...

— Да... сегодня ночью убили...

Все остальное прошло как в беспамятстве: вместе с друзьями укладывали в гроб, стоял в почетном карауле и не мог отвести взгляда от совершенно прекрасного, не обезображенного смертью — с застывшей иронической улыбкой — лица и рассеянно слушал, как художник Валентин Малыгин, тоже потрясенный этим живым выражением губ, персиковым цветом кожи, все повторял, глядя на такие чуткие, всегда приподнятые рубцовские уши:

— Слышит... Все слышит!

Потом несли на руках гроб, говорили последние прощальные слова над могилой, поминали в Доме художников и читали его стихи... И все это — без отчетливого понимания, что — безвозвратно, что — навсегда.

...Уезжая в Москву, только об одном просил друзей: известить, когда будет суд над убийцей. И вот наконец телеграмма пришла. Суд назначен на 6 апреля 1971 года.

Здание старое, кирпичное, стоит на улице Батюшкова. Того самого, около могилы которого в Прилуцком монастыре когда-то Николай Рубцов, видимо предчувствуя недалёкий конец, просил положить себя. Но — «на то не наша воля».

Он уже два с половиной месяца покоился на обычном городском неуютном кладбище, а женщина, лишившая его столь любимой им жизни, собиралась предстать перед суровым судом. Суд располагался в закрытом заседании, а желающих присутствовать на нем было огромное количество. Почти все писатели здесь: и Белов, и Романов, и Астафьев. Но председатель суда говорит, что может допустить лишь одного, и то если он командировку от газеты покажет. Возможен журналист, а не писатель. Друзья это место уступили мне. Вскоре я возвращаюсь с бумажкой такого содержания: «В городской народный суд. Редакция областной газеты «Красный Север» направляет на судебный процесс по уголовному делу Л.А. Гр-ской нашего корреспондента Коротаева В.В., зам. редактора газеты «Красный Север» (А. Шорохов).

Меня пропускают в зал заседания, и первые полтора часа я сижу ни жив ни мертв, боюсь шелохнуться, — чувствую, что порядки здесь строгие и все может произойти. Ни о каких записях, конечно, и речи быть не может. Лишь бы усидеть, все самому услышать и увидеть, а на память я пока не жалуюсь. Главное потом восстановлю!

Но в перерыве мне говорят, что журналисту, разумеется, можно делать записи, и странно, почему я до сих пор их не делаю.

Теперь мне легче. Я достаю блокнот и пристраиваю его на колене. Свидетелей предупреждают, что должны говорить лишь правду, и предлагают дать подписку. Люди не привыкли к такой обстановке, волнуются и забывают даже обмакнуть ручку в чернильницу и подо-

лгу скребут по бумаге сухим пером, пока не догадаются, почему оно не пишет.

Подсудимая сидит за барьером, под охраной серьезного пожилого милиционера. Молодая еще, пышноволосяя, глаза — по луковице, грудастая, бедрастая, а голос — мягок, чист и глубок, точно у ангела. И все-таки этот ангел совершил дьявольское дело — сгубил редчайший русский талант, всех нас лишив светлого друга, осиротил близких и родных. Да и всю нашу землю — тоже. И если мы не произносили пока вслух имя ангела-дьявола, то лишь из жалости к его родителям, дочери, из простого чувства сострадания, а может, и излишней деликатности.

Но рано или поздно имя это придется произнести. Вслух и печатно. А пока я смотрю на подсудимую, которая часто перебивает (а по существу направляет) свидетелей, и размышляю: до конца ли она понимает, что совершила? Глубоко ли мучает ее содеянное? И по тому, как она энергично защищается, вижу: нет, истинного раскаяния не произошло. Раскаявшийся человек не может быть столь настырен, рационален и логичен! Или это работает чисто материнский инстинкт самосохранения (ведь у нее — дочь)?

Но мне-то что за дело, какие у нее мотивы. Меня интересует перво-наперво: раскаивается или нет? На словах — да, а на деле? Она себя и суду представляет как ангела: вина не пьет, любит кошек и собак (одну даже как-то подобрала на улице и вылечила), почитает родителей (они здесь и могут все подтвердить). До сих пор чужих мужей не отбивала, не воровала чужого добра, нежно и заботливо любила свою дочь... Право, ангел!

Но поэта Николая Михайловича Рубцова все-таки убила! И не просто убила (мало ли в горячке бывает — ножом, молотком, поленом), а — задушила... И тут уже

обычной аффектацией трудно что-нибудь объяснить. Чтобы задушить мужчину, кроме силы, нужно время, в течение которого можно одуматься, разжать пальцы, а после — устыдиться своего бесовского порыва, сорвать с вешалки пальто и выбежать на мороз, остынуть, прийти в себя...

Но ничего такого не было. Она до конца доделала свое черное дело, бросила в ванну валявшееся на полу грязное тряпье, ополоснула руки (хотя и утверждает, что — нет). Впрочем, бог с ними, это не столь важно. Спокойно открыла дверь и пошла сдаваться в милицию. В пятом часу утра. Но — странно — спокойно открыла дверь. А ведь только что утверждала обратное, когда ее спрашивали судьи, почему не ушла сразу, в самом начале разыгравшегося скандала? Она ответила, что хозяин запер дверь и она не могла выйти. Но почему же не могла сразу тогда, если сделала это запросто, когда он лежал бездыханным на полу? Она же не шарила в его карманах, не искала ключ? Значит, он был в двери с самого начала, и нужно было его просто повернуть. Наверняка на это достало бы силы, коль хватило, чтобы справиться (вернее, расправиться) с мужчиной.

Один за другим выступают свидетели — ее свидетели. Мертвые их не имеют. И рассказывают, как хорошо она работала в библиотеке, уважала сослуживцев, занималась общественной работой. А покойника поносят кто как хочет. И некому его защитить.

Нам в свое время предлагали выставить общественного обвинителя, но мы, люди малоопытные, решили, что это ни к чему и т. д. Мы сказали, что верим в наш советский суд, где люди ученые, со специальным образованием, во всем разберутся, все решат верно.

Оно так и произошло в конечном счете, но подсудимая-то вот имеет и защитника, и свидетелей, а умерший

насильственной смертью поэт Рубцов не может за себя постоять, не имеет возможности. Слабые попытки прежней жены вспомнить о нем как о поэте ни к чему не привели. Не тот уровень изложения. К тому же ее осуждает адвокат: «Мы здесь говорим не о поэте, а о гражданине Рубцове». Ловко срезала! Но когда ей надо строить свою защиту, она — очень опять же ловко — вставляет в продуманную речь его стихи:

В твоих глазах —
Любовь кромешная,
Немая, дикая, безгрешная!
И что-то в них
Религиозное...
А я — создание несерьезное —
Сижу себе
За грешным вермутом,
Молчу, усталость симулирую...
— В каком году
Стрелялся Лермонтов?
Я на вопрос не реагирую!

Стихи незадолго до суда опубликованы в газете «Вологодский комсомолец», в посмертной подборке, и дальновидный адвокат конечно же приберег их к случаю. Далее следует риторический вопрос: чему могут научить такие стихи подрастающее поколение? Словно все поэты только и делают, что пишут для подростков. И главное — всех учат, наставляют. И разумеется, нажим делался прежде всего на слово «вермут».

Горю желанием ответить вопросом на вопрос: а чему могут научить в таком случае наверняка известные ей с детства стихи:

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей.
Выпьем с горя. Где же кружка?
Сердцу будет веселей.

Но я лишен права голоса, и на этот раз с открытым ханжеством мне не удалось повоевать. Я даже не мог

возразить, когда она утверждала, что перед законом все равны, — вскоре сама себе противореча: «Он — поэт, с него какой спрос...»

Однако я забежал вперед — еще не все свидетели допрошены. И вот выступает сосед, над квартирой которого жил Рубцов. Он был обстоятелен, нетороплив, отвечал только на вопросы, которые ему задавали.

— Что вы можете рассказать по делу?

— Хотели жениться. Я говорю ему: ну, Коля, вы хорошая пара. Радовался: люди хорошие, хотят вместе жить вечно.

Следует вопрос о причастности подсудимой к алкоголю.

— Было. Зашел к ним, он был трезвый, а она — косяя.

— Что вы, Алексей Иваныч! — возмутилась из-за перегородки подсудимая.

— А я скажу... Вот вы на кухне стояли с распущенными волосами вот в таком стиле. — Алексей Иванович расставил ноги и слегка изогнулся в поясе, изображая нетрезвую гостью Рубцова.

Ну вот, хоть немножко оживил ее образ, а то предыдущие показания почти засахарили бедную женщину.

Она, видимо, не ожидала нового поворота дела и порядком расстроилась. Но это еще не все. На вопросы следователя Меркурьева пришла характеристика на подсудимую, и опять-таки не все розового цвета. Вот, например, из подлесской сельской библиотеки, где она трудилась в последнее время:

«К работе относилась недобросовестно: в отчетах давала ложные показания по читателям и книговыдаче. Систематически не являлась на семинары, имела за это время выговоры. В библиотеке всегда был беспорядок: кругом грязь, книги раскиданы. Из наглядной агита-

ции в библиотеке ничего не было оформлено. На замечания инструктирующих лиц не реагировала.

Зав. отделом культуры Вологодского райисполкома

Цветкова.

12.11.71 г.».

Я не то чтобы злорадствую, но чувствую, как потихоньку выравнивается обстановка. А судья расставляет положенные акценты, и на жалобу подсудимой: «Вы меня упрекаете» — довольно резко и весомо отвечает:

— Мы вас не упрекаем, мы вас судим! — И добавляет: — И вопросы здесь будут задавать: не вы — нам, а мы — вам.

Не случайно впоследствии — в кассационной жалобе — она о судье будет отзываться не самым лестным образом. И тем не менее подсудимой нельзя было обижаться на недостаток заинтересованного внимания к себе. Я уж не говорю о поведении женщины-адвоката, в обязанности которой входила прямая защита виновной, — и поэтому ею было сделано все, чтобы втоптать в грязь имя бесчеловечно угробленного поэта Рубцова. Она всяческими способами, методами и стараниями пыталась обелить, увенчать ореолом жертвенности, терпеливости, чуть не святости личность убийцы и договорилась до того, что просила для обвиняемой всего лишь год условно!

Недорого же она ценила жизнь безвременно погибшего таланта, уже тогда всенародно признанного и решительно причисленного к разряду выдающихся деятелей русской поэзии.

Но меня еще больше удивляла речь прокурора. Вместо того что бы выдвигать и обосновывать обвинение, он повышал голос на вологодских писателей, которые недостаточно строго воспитывали Рубцова. Многое прояснилось в ходе разбирательства, осталось дослу-

шать последнее слово обвиняемой. Гр-ская некоторое время молчала, склонив пышные кудри, негромко обронила:

— То, что случилось, — страшно, непоправимо. Николай Рубцов — талантливый поэт, и я ценила его, преклонялась перед его талантом. — Потом она подумала и продолжала: — Меня обвиняли в том, что я приехала сюда, разыскала и сблизилась с Рубцовым для собственной корысти, для карьеры. Я это полностью отрицаю. Корысти не было. Я сблизилась с ним на почве поэзии. Это оказалось для меня роком. Он имел надо мной огромную власть, я не могла противиться ему. Но я не умышленно его убила, и все-таки убила я, и от этого никуда не денешься... И себя этим погубила. Как поэтесса. И до конца жизни буду считаться убийцей Рубцова.

Но минутное раскаяние быстро прошло. Поэтому Рубцов в ее рассказах появлялся то с молотком, то с лопатой, притащенной с балкона, то искал нож, который она предусмотрительно зарыла в его рукописи, беспорядочно валяющиеся на подоконнике. Никто, конечно, всерьез не может представить Рубцова в роли нападающего физически. Иное дело — если словом. Задеть за живое, а коли потребуется — и раздавить этим самым словом — это он мог. Допускаю. А чтобы ножом или лопатой... Это поэт-то Рубцов? Да никогда!

— Когда я пыталась уйти, ему показалось, что легче убить меня, чем со мной расстаться. И он сказал: «Ты меня хочешь оставить, унижить и сделать для всех посмешищем? Нет, сначала я раскрою тебе череп!»

У меня возникла смертельная опасность, меня эта фраза лишила рассудка, и я поняла: либо он погубит меня, либо — я его. Он подошел ко мне, я свалила его на пол и взяла двумя пальцами за горло и потеревила. (На фотографиях, имеющих в деле, все горло по-

страдавшего в ужасных кровоподтеках и грубых широких царапинах. Есть одна фотография, крупным планом дающая эти следы варварства.) В это время он кричал: «Я люблю тебя!» Он, видимо, почувствовал, что ему конец, и молил меня пощадить, а я этого не почувствовала. И поняла все только тогда, когда у него волосы на висках вдруг встали дыбом. Я увидела его синюю щеку и расцепила пальцы. Он глубоко вздохнул, словно охнул, перевернулся всем телом и ничком упал в валявшиеся простыни и затих. Я стою над ним и не верю своим глазам. Трагедия произошла. Я признаю свою вину, но это произошло не умышленно. Я полностью погубила себя, а это сознательно я не могла сделать.

Потом она снова уверяла, что не хотела убивать, и все сваливала на рок, судьбу, какую-то неведомую темную силу.

Судьи внимательно выслушали ее и отправились в совещательную комнату. Судя по тому, что они не заставили себя долго ждать, особых разногласий среди них не возникло. Убийство было признано умышленным. Без отягчающих обстоятельств. Определено восемь лет общего режима. И все вздохнули. Кто с облегчением, кто — с сожалением. Но прежде всех, видимо, вздохнули судьи. Они — с облегчением. Для них это темное дело, понятно, малоприятное, было закончено. Для нас оно только начиналось...

Вадим Кожин

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

Самый неоспоримый признак истинной поэзии — ее способность вызывать ощущение самородности, нерукотворности, безначальности стиха. Мнится, что стихи эти никто не создавал, что поэт лишь извлек их из вечной жизни родного слова, где они всегда — хотя и скрытно, тайно — пребывали. Толстой сказал об одной пушкинской рифме — то есть о наиболее «искусственном» элементе поэзии: «Кажется, эта рифма так и существовала от века». И это свойство, характерное не только для пушкинской поэзии, но и для подлинной поэзии вообще. Лучшие стихи Николая Рубцова обладают этим редким свойством. Когда читаешь его стихи о журавлях:

Вот летят, вот летят... Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеют душа и природа
Оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их...

Как-то трудно представить себе, что еще лет десять назад эти строки не существовали, что на их месте в русской поэзии была пустота.

Все, кто слышал стихотворения Николая Рубцова в его собственном исполнении, помнят, как, увлекаясь чтением, поэт сопровождал его характерными движениями рук, похожими на жесты дирижера или руководителя хора. Он словно управлял слышимой только

ему звучащей стихией, которая жила где-то вне его — то ли в недрах родной речи, то ли в завываниях ветра и лесном шуме Вологодчины, то ли в создаваемой веками музыке народной речи, музыке, которая существует и тогда, когда никто не поет.

подавляющее большинство пишущих стихи делают это «для чего-то», формируя из своих — неизбежно ограниченных — впечатлений, мыслей и чувств соответствующую заданию стихотворную реальность. Между тем в поэзии Николая Рубцова есть отблеск безграничности, ибо у него был дар всем существом слышать ту звучащую стихию, которая неизмеримо больше и его, и любого из нас, — стихию народа, природы, Вселенной.

После дружных журнальных публикаций и особенно — после выхода «Звезды полей», казалось бы, судьба Николая Рубцова складывалась легко и счастливо. Но в действительности все было гораздо сложнее. Тяжкое прошлое наложило неизгладимую печать на поведение и самую натуру поэта. У него был трудный, неуравновешенный, глубоко противоречивый характер. Он являлся то предельно кротким и застенчивым, то развязным и ослепленным чувством зла. Он мог быть стойким и мужественным, но мог и опустить руки из-за неудачи. Он часто мечтал о семейном уюте, спокойной творческой работе и в то же время всегда оставался скитальцем по самой своей природе:

Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле — по селам и столицам!
Я сильным был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться...

Важную роль сыграли в судьбе Николая Рубцова его вологодские друзья по литературе. Здесь жили и работали выдающиеся прозаики Виктор Астафьев и Василий Белов, поэты Виктор Коротяев и Александр Романов, большая группа более молодых литераторов.

И Рубцов, естественно, стал негласным предводителем вологодского поэтического цеха. Он оказался среди верных друзей и чутких соратников, наконец обрел здесь постоянное пристанище и заработок. Вологда с ее улицами, домами, храмами, рекой вошла как родной и любимый город в последние стихи Николая Рубцова.

Творчество поэта получило достаточно широкий отклик в критике. Но ныне становится все более ясно, что некоторые характеристики, слишком поспешно данные Рубцову, неточны или просто ошибочны. Прежде всего, многие критики безоговорочно и прочно причислили его к деревенской поэзии. Конечно, если попросту исходить из того, что большинство зрелых стихотворений поэта так или иначе связано с темой деревни и сельской природы, — вопрос ясен. Но на самом деле все обстоит далеко не так просто.

Мне не раз приходилось слышать от самого Николая Рубцова недовольные и даже резкие возражения тем, кто называл его деревенским поэтом. Начнем с того, что все молодые годы прошли в городах и морских портах. Покинув родную деревню в четырнадцать лет, он вернулся туда — фактически и духовно — только тридцатилетним. Настоящее возвращение произошло именно в то время, когда Рубцов входил в большую литературу. Суть дела вкратце можно выразить так: деревня стала необходимой поэту не сама по себе как поэтическая тема, но как своего рода «точка отсчета». Это рельефно выразилось в ряде стихотворных концовок, словно обнажающих внутренний смысл обращения поэта к сельскому бытию:

Мать России целой — деревушка,
Может быть, вот этот уголок...

Или в стихотворении «Ферапонтово»:

И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле.

Или вот эти стихи:

Вокруг любви моей
Непобедимой
К моим лугам,
Где травы я косил,
Вся жизнь моя
Вращается незримо,
Как ты, Земля,
Вокруг своей оси...

Да, родная деревня и любовь к ней были для зрелого творчества Рубцова именно своего рода «осью». Но он никогда не терял из виду весь круг жизни своего народа и всю Землю, хотя из самой отдаленной ее точки снова и снова возвращался к «оси».

Природа у поэта почти не выступает как объект изображения. Его стихи воплощают органическое, хотя и противоречивое единство человека и природы, которая как бы непрерывно переходит друг в друга. Дело идет вовсе не о так называемом антропоморфизме, то есть одухотворении, очеловечивании явлений природы, которое сложилось в древнейшем, даже первобытном фольклоре, а позднее нередко выступало как образная основа поэзии (например, у Кольцова и Некрасова). Для творчества Рубцова этот путь не очень характерен. Если уж на то пошло, поэт более склонен к утверждению природной основы человека, нежели к очеловечиванию природы.

Как это на первый взгляд ни странно, в очеловечивании природы выражается заведомая отдаленность от нее, чуждость ей — та чуждость, которая свойственна ранним стадиям человеческого развития, когда людям повседневно приходилось бороться не на жизнь,

а на смерть с природными явлениями и стихиями, и они стремились хотя бы в сознании преодолеть их чуждость, враждебность, наделив своими человеческими чертами. Это в той или иной форме выступает в развитии поэзии вплоть до XX века.

Но в нашем столетии совершился настоящий переворот в практическом и, естественно, духовном отношении человека к природе. Небывалая власть над ее силами привела к тому, что на первом плане теперь стоит не задача борьбы с этими силами, а задача защиты природы от разрушительного действия грандиозно выросших человеческих сил.

Подлинно современная поэзия скорее стремится к открытию природного в человеке, чем человеческого в природе. Это в высшей степени присуще и поэзии Николая Рубцова, хотя она и не лишена моментов очеловечивания природы. Например:

В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то божье в земной красоте.
И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы,
Диво дивное в русской глуши!

Здесь высшее проявление человеческих возможностей «возникло» подобно траве, березам, воде. Но это лишь одна сторона дела. Поэзия Рубцова нераздельна с жизнью и историей народа. В каком-то смысле это можно сказать о творчестве многих поэтов. Но у Рубцова — и в этом один из главных источников силы и своеобразия его поэзии — природа и история народа нередко словно сливаются, даже отождествляются, и их единство предстает для поэта как своего рода идеал. В стихотворении «О Московском Кремле» читаем:

В твоей судьбе — о, русская земля! —
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было все: смиренность и гордыня —
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!

«Старина» история существует непосредственно в лесах и холмах, из которых словно сама собой возникла и утвердилась твердыня Кремля. Начав свой путь как «городской» поэт, Николай Рубцов обратился к деревне, ибо был убежден, что в ее бытии сегодня яснее выступают природа, человек и история в их противоречивом единстве. Исходя из всего этого я и опровергаю широко распространенное определение поэзии Николая Рубцова как деревенской. Деревня явилась для поэта необходимым «материалом» творчества, воплощавшего коренные проблемы современности. Николай Рубцов — не «деревенщик», а один из немногих наиболее значительных русских поэтов нашего времени.

Столь же необоснованно тесное связывание поэзии Николая Рубцова с традициями устного народного творчества и с той линией в русской поэзии, которая им принципиально следовала (Кольцов, многие вещи Некрасова, Есенина). В наследии Рубцова можно найти стихи, которые более или менее связаны с устным народным творчеством. Но это либо ранние стихи, в которых поэт еще не обрел собственный стиль, либо немногие произведения, сознательно опирающиеся на фольклор. Таковы стихи «В горнице моей светло», «Сапоги мои скрип да скрип», «В лесу под соснами» и т. п. Стиль же основных произведений опирается, с одной стороны, на сугубо современную разговорную речь деревни и, в не меньшей степени, речь городскую, а с другой — на прочные стилевые традиции класси-

ческой русской поэзии от Пушкина и Лермонтова до Заболоцкого и Твардовского.

Многое говорилось в критике о прямой связи творчества Рубцова с поэзией Есенина. На мой взгляд, эта связь в гораздо большей степени присуща ранним стихам Рубцова. Между прочим, сам поэт решительно возражал тем, кто называл его наследником Есенина. Помню даже возникший на этой почве спор, который закончился ссорой с собеседником. Это, разумеется, не означает, что Николай Рубцов недостаточно хорошо относился к поэзии Есенина. Напротив, он ценил ее предельно высоко и любил всем своим существом. Достаточно вспомнить его стихотворение «Сергею Есенину»:

...Да, недолго глядел он на Русь
Голубыми глазами поэта.
Но была ли кабацкая грусть?
Грусть, конечно, была... Да не эта!

Версты всей потрясенной земли,
Все земные святыни и узы
Словно б нервной системой вошли
В своенравность есенинской музыки!

Это муза не прошлого дня.
С ней люблю, негодую и плачу.
Много значит она для меня,
Если сам я хоть что-нибудь значу.

И все же в рубцовой любви к Есенину не было той исключительности, которую хотели бы видеть некоторые критики и поэты. В зрелой поэзии Рубцова мало общего с есенинским стилем. В ней, в частности, совершенно отсутствует та эстетика и поэтика цвета, без которого немислимо творчество Есенина.

Известны стихи Рубцова, в которых он говорит о своем стремлении «проверять» по книгам Тютчева и Фета «искренность слова» и «продолжить книгою Рубцова» книги этих поэтов. И можно с большим основанием ут-

верждать, что любимейшим поэтом Николая Рубцова был уж совсем не «деревенский» Тютчев. Он буквально не расставался с тютчевским томиком и, ложась спать, клал его под подушку. Нет сомнения, что гениальная поэзия Тютчева оказала сильнейшее влияние на Николая Рубцова. Подчас в его стихах слышны прямые отзвуки кумира. Скажем, такие:

В краю лесов, полей, озер
Мы про свои забыли годы.
Горел прощальный наш костер,
Как мимолетный сон природы.

И ночь, растроченная вся
На драгоценные забавы,
Редеет, выше вознося
Небесный купол, полный славы.

Душа свои не помнит годы,
Так по-младенчески чиста,
Как говорящие уста
Нас окружающей природы.

Менее явные отголоски тютчевской поэзии есть во многих стихах Рубцова.

Нельзя не сказать и о другой неоправданной тенденции, сказавшейся во многих критических статьях, относивших творчество Николая Рубцова к тихой лирике. Это понятие вполне уместно, скажем, по отношению к поэзии Анатолия Жигулина. Но к основным стихам Николая Рубцова явно неприменимо. Во многих лучших стихотворениях звучит интонация столь активной устремленности, заклинания, призыва, что ни о какой тихости не может быть и речи:

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!

Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Этой принципиальной «громкостью» своих стихов поэт достаточно ясно выразился в пунктуации. Трудно назвать автора, в текстах которого было бы так много восклицательных знаков, как у Рубцова. Во многих стихах они употребляются в каждой строфе и даже чаще. Какая уж тут «тихая лирика», о которой так бездумно говорилось в целом ряде критических статей о поэзии Рубцова.

Наконец в критике прочно утвердилось представление о принципиальной простоте, «безыскусности» его поэзии. Многие отклики создают впечатление, что творчество поэта как бы даже не нуждается в серьезном и углубленном понимании и тем более — исследовании, ибо здесь все высказано прямо, непосредственно, без каких-либо ухищрений. И читателям остается лишь доверчиво, «душевно» воспринимать простое, открытое и откровенное слово поэта.

Такое толкование вопроса имеет свою привлекательность. Вот, мол, иные поэты напрягаются, изощряются, чтобы создать сложный образный мир (который к тому же оказывается неизбежно в той или иной мере искусственным), а Николай Рубцов сумел — и в этом как раз проявилась сила его таланта — попросту «сказаться душой», естественно, словно без всякого искусства выразить ту сокровенную суть человека, которая и составляет истинную основу поэзии.

Такое решение заманчиво, но, увы, несостоятельно. Тем, кто стремится понять природу поэзии, необходимо навсегда запомнить, что в творчестве нет и не может быть простых — в буквальном смысле слова — и «безыскусных» путей.

Да, поэзии Рубцова не свойственна та прямая, очевидная сложность, которая бросается в глаза каждому. Нет в ней ни изощренных метафор, ни причудливых образных ассоциаций, ни необычных словосочетаний, ни оригинальных звуковых и ритмических структур. Впрочем, в молодости поэт слегка поддался этому искушению, но вскоре наотрез отказался от какой-либо «экспериментальности».

Это, однако, ни в коей мере не означало, что он упростил свою творческую задачу. Наоборот, сложность эта велика потому, что залегает в самой глубине и воплощает в себе не изощренность поэтического зрения, но внутреннюю сложность самого бытия (точнее — события) человека и мира. Михаил Лобанов заметил, что в поэзии Рубцова «миросозерцание неизмеримо углубляется причастностью к тому, что, в сущности, невыразимо».

Можно выразить или даже изобразить объективную жизнь мира — скажем, создать зримый, осязаемый словесный образ природы. С другой стороны, можно очень точно выразить душевное состояние человека, которое ведь само по себе так или иначе воплощается в слове, в так называемой внутренней речи; уловив и закрепив в стихе движение этой прихотливой словесной ткани, поэт ставит перед нами «поток сознания».

Но бытие совершается и на грани человека и мира, на самом рубеже субъективного и объективного. Этот, пользуясь термином М.М. Бахтина, диалог человека и мира нельзя воплотить ни в чувственном образе, ни в слове как таковом.

Михаил Лобанов

СТИХИЯ ВЕТРА

Живая клетка в природе — это чудо, неразрешимая до сих пор тайна, перед которой убого-примитивна любая синтетика с ее блеском и новизной. Такое же чудо в искусстве — органический образ:

В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.

Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.

Интуитивность образа у Есенина заключает в себе такую содержательность, в сравнении с которой плоскими, крайне элементарными были бы любые рационалистические рассуждения о тайне «земли глагола». Одно из главных свойств есенинского образа — жизненная конкретность, цельность. У Есенина образ возникает из органично-жизненных подробностей, из живой бытовой картины.

У Блока основой образа становится музыкальность стиха, призванная заморозить читателя, ввести его в русло лирического настроения. Музыка была для Блока началом, основой мирового бытия. Широко известны его слова: «Слушайте музыку революции». Эта музыка

стала, говоря словами самого поэта, «сокрытым двигателем» его поэмы «Двенадцать».

Совершенно иная природа отражения революции в поэзии Есенина — непосредственно через трагедию чувства, внутренние противоречия личности самого поэта, через психологическую борьбу старого и нового в сознании. Драматизм усугублен тем, что в поэзии Есенина нашла обостреннейшее выражение не только личная судьба поэта. Пронзительность его лирики нельзя понять вне судьбы русской деревни, оказавшейся на историческом острие. Есенин не знал, что Блок называл «проклятием отвлеченности» (считая это своим недугом); социально-историческая глубина и конкретность противоречия поэзии Есенина проявляются в самой жизни чувства лирического героя. В известном значении поэзия Есенина — это история души поэта, тех внутренних, духовных процессов, которые происходят в нем и в которых преломляется общее, характерное для времени.

Для понимания поэтики Есенина, ее органичности многое открывают слова самого поэта о том, что творчество должно быть «природой», а также его признание: «Я сердцем никогда не лгу». Что такое творчество как природа? Это значит, что оно должно быть продуктом не одних голых мозговых усилий, а выражением всего бытия личности в ее духовно-нравственных, волевых, эмоциональных и вообще человеческих качествах; выражением органичной, целостной связи художника с изображаемым миром. В этом смысле точны слова Есенина как органа природы, и можно добавить — не только природы. Поэтический образ у Есенина настолько первороден, что воспринимается как живое движение человеческого чувства:

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Это то же чудо, что и пушкинское расставание с молодостью:

Ужель и впрямь, и в самом деле,
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

Проникновенность чувства у Есенина такова, что она становится откровением бытия, как, например, ощущение неповторимости земного существования в стихотворении «Мы теперь уходим понемногу...».

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

Поэзия Есенина — это «половодье чувств», богатство душевного постижения жизни, всего того «родного и близкого, от чего легко зарыдать». Родительскую избу, перелески, проселки и так далее поэт довел до читателя в такой поэтичности, что Россия была бы скудна без них. И вместе с тем поразительна глубина прозрений есенинских образов.

Обратимся к Блоку, чтобы нагляднее было видно своеобразие есенинской поэтики, вспомнив блоковские стихи о смерти, о «живом мертвце». Или из другого стихотворения «Пляска смерти». В первом случае — легкая ироничность с «улыбкой рассудительной» о смерти, во втором — сарказм о чиновниках — ходячих мертвцах, которые скрывают «для карьеры лязг костей». Для сравнения приведем есенинское четверостишие:

Я устал себя мучить бесцельно,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвца.

Это уже такое психологическое состояние, которое достаточно испытать однажды, чтобы носить его в себе постоянно. Принято говорить, что лучше один раз увидеть или испытать самому, нежели десять раз прочитать об этом или услышать от других. Но откровения Есенина воспринимаются не как «вычитанные», а как испытанное нами самими, настолько свободны они от литературности (обычно сковывающей непосредственность выражения чувства, мысли даже у большого художника).

В этом и заключается высшее искусство в преодолении тяжести формы, в таком творчестве, когда форма уже не замечается и остается сама природа чувства, мысли, то, что «на душе лежит» у поэта и передается нам. Кстати, в творчестве и живет то, что больше слов, — тот конкретный психический материал, который остается в памяти читателя помимо слов (то есть помимо буквального выражения), наконец, сама причина, вызвавшая слово.

Поэзия Есенина, как всякое великое творчество, не может усваиваться формально («есенинская школа» стиля, образности и т. д.), а является вечно живым стимулом для тех творческих сил, которые выходят за пределы эмпирики и жаждут «творчества природы», ждут соединения с глубинными слоями бытия. Для таких живых поэтических сил Есенин всегда был опорой и будет опорой в борьбе против смертельной опасности в поэзии — рационалистичности.

Чрезвычайно актуальна эта проблема в нынешней поэзии. В ней преобладает рационалистичность, но есть и факты, которые свидетельствуют о том, что поэзия продолжает жить в своем органическом качестве. В стихах Николая Рубцова нетрудно заметить есенинские интонации, но более существенна связь в другом: в самом природно-органичном восприятии мира. О по-

эзии Рубцова говорят, что «не она от нас зависит, а мы зависим от нее». В тех же стихах, откуда взяты эти слова, читаем:

Скажите, знаете ли вы
О вьюгах что-нибудь такое:
Кто может их заставить выть,
Кто может их остановить,
Когда захочется покоя?

От того, как ответить на этот вопрос: да или нет, — и зависит, собственно, судьба поэзии. Да, можно, когда захочется покоя, комфорта, выключить вьюгу или по желанию снова «включить» ее — будет то же завывание. Но мы чувствуем, как тотчас же исчезает «душа» вьюги, обрывается связь с чем-то таинственным, бесконечным, без чего не может быть и глубокого смысла конечного. Убивается воображение и сама поэзия.

Когда поэт имеет дело не с понятиями о природе, а непосредственно с нею самой, когда для него в ней есть и душа, и язык, тогда его мирозерцание неизмеримо углубляется самой причастностью к тому, что, в сущности, невыразимо. Хаос ночи, ветра в поэзии Тютчева так одухотворен, что в ней мы действительно с «беспредельным жаждем слиться».

Николаю Рубцову дано было сказать свое слово о природе и — что очень трудно после Тютчева — о стихии ветра. Это было бы невозможно, если бы поэт не обладал своим сильным мирочувствованием, в основе которого была «жгучая, смертная» связь с природой, родной землей. Но что-то «жгучее, смертное» есть и в связи поэта с самой природой, ветром, вьюгой, вызывающими в его душе отклик чувств — мирных, тревожных, вплоть до трагических предчувствий. В стихотворении «Памяти матери», думая ночью в пургу о ее могиле «во мгле снегов», поэт вдруг как бы вздрагивает:

Кто там стучит?
Уйдите прочь!
Я завтра жду гостей заветных...
А может, мама?
Может, ночь —
Ночные ветры?

Вы чувствуете, как и вас пронзает это: что это? кто стучит? Мать, умершая давно, но живущая в памяти как живая, — не она ли там, за порогом, в пурге, или это сама пурга? Сейчас все в ветре, вся жизнь человека, память его о самом родном, вселенная за окном — все в ветре. Эта обнаженность мироощущения переносит сознание за грань привычного, как в том же стихотворении: «Меня ведь свалят с ног снега, сведут с ума ночные ветры». Это та сила воображения, без которой все на земле упростилось бы и жизнь сделалась плоской, несносной.

Если ветер — всего только движение мертвых атомов, то не зазвучит ли в нем некая волшебная флейта? Но когда он из недр мироздания, действительно «роющий и взывающий» в человеческой душе «таинственные звуки», тогда есть место поэзии. Душа поэта должна быть наполнена, и не только мыслью о природе, но и ею самой. Это — ясно. Сумрак не просто для глаз, а «сумрак душу врачует мне» («На ночлеге»). Это как бы двуединое бытие, когда сквозь видимую, внешнюю оболочку мерцает внутреннее, сокрытое.

Совсем особая жизнь ветра в стихотворении «Зимняя ночь». Это даже и не метель, не буран, не жалобный ночной плач, в котором «есть какая-то вечная тайна»; это — предчувствие чего-то неотвратимого, конечного, губельного. И то, что ночью «кто-то пристально смотрит в жилище», и заявившийся на ночлег «непонятный какой-то и странный из чужой стороны человек».

Не новый ли «черный человек», который знает, кого навещать? Но эта связь не столько литературно-традиционная, сколько онтологическая. И в этом глубокое

значение этой связи, значение того, что в недрах современного поэтического сознания, несмотря на всю эмпирическую зависимость от мира, живут предощущения глубокие, вырывающиеся временами в явления трагического творчества. Прямые философствования Николая Рубцова наивны («Философские стихи»), говоря его же словами, он «бессилен, как философ», зато «чуток, как поэт». То, что он называет «загадками и вопросами», открывается ему через интуицию (стихотворение «Ночное ощущение»), у поэта достаточно душевного такта, чтобы не делать из своих «ощущений» напыщенных выводов. Он хочет быть самим собою:

Вот коростели крик
Послышался опять...
Зачем стою во мгле?
Зачем не сплю в постели?
Скорее спать!
Ночами надо спать!
Настойчиво кричат
Об этом коростели...

Но в таких «ночных ощущениях» может быть больше философии бытия, чем в ученейших рассуждениях о нем. Чуткость поэта к «загадкам и вопросам» может быть более реальной и конкретной, чем эмпирические философствования. Психологическая объемность образа и поэтической мысли невозможна при эмпирическом мирозерцании — она требует прорыва в глубины природы и духа. Поэтический образ у Рубцова порой достигает редкой естественности:

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор,
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать...

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Примечательно, как разнохарактерные подробности эстетически объединяются в едином образе. Такого единства нельзя добиться никакими внешне-формальными приемами, средствами. Оно достигается только цельностью нравственно-эстетического отношения к «тихой родине». Поэт меньше всего занят заверениями, заклинаниями о своей любви к родной земле. Это чувство облечено у него в плоть картин, дорогих сердцу.

Вспоминается, как одна известная советская писательница повествовала о районном городе: райцентр, райбольница, райторг, раймагазин и так далее... Все — рай, умилялась она. Действительно, как будто сплошной рай, а читателю от этого ни холодно ни жарко. Ничего райского он тут не видит и не чувствует, ибо знает, что это — пустая игра слов, что автору вовсе не обязателен этот городок, чтобы так «остроумно» обыграть его название. Но вот о таком городке говорит Николай Рубцов:

Тот город зеленый и тихий
Отраднo заброшен и глух.
Достойно, без лишней шумихи,
Поет, как в деревне, петух
На площади главной... Повозка
Порой громыхнет через мост,
А там, где овраг и березка,
Столпится народ у киоска
И тянет из ковшика морс.
И мухи летают в крапиве,
Блаженствуя в летнем тепле...
Ну, что там отрадней, счастливей
Бывает еще на земле?

Взгляну я во дворик зеленый —
И сразу порадуют взор
Земные друг другу поклоны
Людей, выходящих во двор...

Надо не только видеть и знать, но и любить все это, сродниться с этими людьми, чтобы с таким неподдельным чувством, с такой зримостью писать о «зеленом городе». У Рубцова вырывается признание:

И вокруг любви непобедимой
К селам, к соснам, к ягодам Руси
Жизнь моя вращается незримо,
Как Земля вокруг своей оси.

Поэта вела по жизни, конечно, не только любовь «к селам, к соснам, к ягодам Руси». Он шел от «звезды полей» к звезде вечной, к постижению нравственных ценностей, и жаль, что путь так скоро оборвался. Что поэт не выразил всего, что мог бы со временем выразить. Однако главное он успел сказать: что именно любовь — та центростремительная сила в поэзии и в самой жизни, которая удерживает творчество, отношения людей от непоправимого распада.

Юрий Селезнев

ПЕРЕД ДОРОГОЮ БОЛЬШОЮ

Истинная поэзия во все времена была отражением, лицом глубинной духовной жизни целого общества, эпохи. Одно из самых привлекательных явлений в нашей литературе последних десятилетий — поэзия Николая Рубцова. Мало кому из поэтов не мечталось сказать о себе столь просто, убежденно и столь пророчески: «И буду жить в своем народе». Сказать не в поэтическом запале, но всем складом и духом своего творчества.

Книга его «Подорожники», вобравшая в себя, по существу, почти все стихи поэта, в целом подтверждает собой непреходящую истину подлинного творчества, истину, коренящуюся в истоках народного понимания прекрасного: величина и величие — понятия далеко не равнозначные.

Размышляя о величии «Слова о полку Игореве», академик Д.С. Лихачев сравнивал его с памятниками древнерусского зодчества: «Особенно замечательна эта связь здания с окружающей природой. Древнерусские зодчие стремились строить на высоких местах так, чтобы здание было видно издалека, чтобы оно господствовало над окружающей местностью, венчало холм, отражалось в реке или озере: мирно «завоевывало» окружающее пространство.

В то же время эти здания органически слиты с рельефом своих высот, они как бы вырастают на их гребне,

завершая их и отнюдь не подавляя нарочитой грандиозностью. Древнерусские зодчие отлично понимали мудрую истину, что величина еще не есть величие».

Природа народности творчества Рубцова в этих же истоках. В один из наиболее бурных периодов развития нашей литературы последних лет его поэзия прочно завоевала сознание современников. Не потому ли, кстати, окрестили ее «тихой» лирикой? Невелик по объему «храм» его поэзии, но «виден издалека» именно потому, что «строился на высоте» — венчал собой устремления целого поколения к высотам культуры, к истинно высокой поэзии.

Николай Рубцов вошел в литературу в то памятное «громкими» именами время, когда о лучших традициях русской классической поэзии напоминали скорее используемые в стихах имена Пушкина и Блока, нежели сам дух, сам смысл стихотворства многих из современников Рубцова, когда бездуховность «ультрамодных» приемов, ритмов и рифм, рациональных метафор, ребусоподобных образов выдавалась — чего греха таить — и принималась порою за неоспоримые достоинства и даже подлинно поэтические ценности.

Чуткий ко всему истинному, талант Рубцова уже с самых истоков противостоял завлекающей моде мифов о «треугольных шедеврах» и прочих «нетленках». Поэтическое зодчество Рубцова, вызванное к жизни высотой духовных устремлений времени, которые уже не могли удовлетвориться ни «гениальными конструкциями стиха», ни глобальной технизацией художественного сознания», подтверждало необходимость новых вершин.

Поэзия Рубцова была живым речательством необходимости и возможности его достижения. Имя Рубцова стало, по существу, синонимом того поэтического явления, которое подготовило в сознании читателей пере-

оценку ценностей, напомнив о бессмертии традиций отечественной поэзии. В нем соединились, столь естественно и столь родственно, поэтическая искренность, природность таланта с осознанной необходимостью овладения высоким профессионализмом; органическое чувство народности с причастностью к классическим традициям культуры. И в этом одна из важнейших основ непреходящей значимости творчества Рубцова как явления общественного, общенационального.

«Подорожники» — так назван последний сборник стихов Рубцова. Так хотел его назвать и сам поэт. Именно это название, думается, наиболее точно и емко представляет лицо сборника, а вместе с тем, естественно, и внутреннюю устремленность таланта поэта, природу его художественного видения, образ его поэтического мира в целом.

«Подорожный, — читаем в «Толковом словаре» Даля, — к дороге, пути, перепутью относящийся. Подорожные столбы, верстовые... Подорожные люди, путники. Подорожные калачи, пироги. Хлеб-соль на новоселье, подорожник — на легкий путь!»

Стихи Рубцова, его «подорожники», тоже «к дороге, пути, перепутью относящиеся» — поэтический образ тех придорожных «зеленых цветов», что на протяжении сотен, а скорее и тысяч лет врачевали раны путников, шедших из века в век по бескрайним дорогам России. «Подорожники» — это символ врачующих сердца и души слов, которые подарил и завещал нам поэт, имевший талант и силы идти дорогой большой поэзии. Да, талант и силы, ибо и в наши дни, как и во все времена, перед поэзией «не одна во поле дороженька пролегла», не один обходной, окольно-чужедадельный путь заманил, закружил лукавыми обещаниями многих талантливых, не решившихся на «прямую, большую дорогу» поэтов.

Богатырь на распутье у замшелого вещего камня — вот вечный образ русской поэзии, творчества в целом:

И снова узкие дороги скрещены, —
О, эти русские
Распутья вещи!
Взгляну на ворона —
И в тот же миг
Пойду не в сторону — а напрямик.

Вряд ли можно назвать случайным тот факт, что более трети всех стихов Рубцова так или иначе связаны с образом «пути-дороги». Но если принять во внимание, что и неназванный образ «путей-дорог» сокровенно возникает и в других стихах Рубцова, если вспомнить при этом постоянство тем и образов разлук, прощаний, встреч-возвращений, отъездов, «отплытий вдаль», ветров и выюг, летящих листьев и проносящихся лет, «образы утрат», если не забыть, что над всем этим поэтическим миром Рубцова светит «одинокая странствий звезда», то нелегко отказаться от мысли, что именно дорога жизни, выбор пути — основная, центральная тема поэтического сознания Николая Рубцова.

В той самой, о которой и Рубцов сказал: «Мы по одной дороге ходим все...» В дороге — идея русской литературы, идея, которую прекрасно выразил один из героев Достоевского: «Большая дорога — это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца — точно жизнь человеческая. В большой дороге заключается идея».

Творческий путь самого Рубцова, его поэтическая судьба во многом и в главном отразили существо духовного, нравственного становления целого поколения. Отразили не декларативно, но в поэтическом духе, в смысле всего его творчества. Народность, историчность, патриотизм его мироотношения сердечно-интимны и вместе с тем общезначимы. И в этой органической слиянности личного и общенародного в поэзии Рубцова

нельзя не видеть и залогов будущего социально значимого противостояния скепсису, нравственному релятивизму.

Но замечательно и другое — та удивительная поэтическая чуткость, что дается только большим поэтам. Рубцов хотел назвать свой сборник именно «Подорожники». Думается, за этим названием скрывается нечто гораздо более глубокое, нежели чисто поэтический выбор. Поэт как будто самим названием хотел указать нам: мои стихи сами по себе — это еще не большая дорога поэзии, но они — по этой дороге. Они помогут осилить и саму дорогу идущему вослед, и явить сам путь в истинно новом слове.

Есть что-то глубоко общественное, трагическое и мужественное, устремленное к этому будущему, еще не сказанному слову-деянию, слову-пути в признании Рубцова: «Сам ехал бы и правил, да мне дороги нет». В этой скромности поэта и мера точности самооценки, ибо ее диктуют классические идеалы и высокое чувство ответственности за свое слово. Это и указание на истинную цену слова лжепророков от поэзии, тщетно пытающихся убедить не то читателей, не то самих себя в собственной гениальности, ничем не подкрепленной, кроме безответственного самомнения.

Уж и поэтические самобоги объявились. Удивительные «откровения» еще нередко пишутся да и печатаются порой: «Я жребием своим вмещаю ипостась... — Отец — Дух — Сын...» Это — недавнее, но по-своему тоже традиционное. Традиции ведь разные бывают. Пришвин, например, вспоминал о временах, когда и «самый маленький петербургский поэт не только где-нибудь в «Аполлоне» или в «Золотом руне», а просто в «Копейке» или в «Биржевке» говорил: я — бог!».

Маленькому, видимо, во все времена желалось если уж не быть, то хотя бы слыть значительным. Тем более

что такое прослывание нередко находит поддержку в ученых «трактатах», арифметически исследующих различные поэтические процессы, ну, скажем, «от Ломоносова до Вознесенского без каких-либо пробелов». Правда, в них не находится, бывает, места даже для упоминания имени Рубцова.

Истинно духовные поэтические ценности, которые и есть вместе с тем служение народу, Родине, в статистические таблицы не вмещаются. А потому и оставим любителям стихотворных игр их праздные забавы, а представителям так называемых «точных», а если уж называть вещи своими именами, то скорее формалистических методов их надежды на возможность поверить гармонию не то что алгеброй, но — арифметикой.

Музыкальность, мелодика, ритм, рифма — все это не внешние покровы стиха, но такие художественно-идеологические формы, через которые и только благодаря которым сокровенные основы мироощущения, нравственности, духовная и гражданская содержательность могут выявиться и осуществиться. Вопрос о формах, господствующих в ту или иную эпоху, — вопрос не праздный, как справедливо считает М. Гаспаров в своей книге «Современный русский стих». «От него зависит оценка вкуса целого периода русской поэзии».

Не случайно уже в новую эпоху один из ныне забытых, но в свое время достаточно популярных толкователей литературы, Л. Пумпянский, говоря о разных видах «реликтов», косвенно сопоставлял такие, казалось бы, далекие понятия, как рифма... и патриотизм: «Реликтом, по-видимому, является рифма, связь которой со стихом, социально существенная когда-то, в настоящее время приобретает все более пережиточный характер». И тут же переходит к «реликту», который называется «военной славой», «патриотизмом», «национальной честью».

Рифма у нашего толкователя конечно же приплетена здесь лишь затем, чтобы наглядно снизить и такие понятия, как патриотизм и национальная честь, чтобы поставить их как можно «естественнее» в один ряд с «верой в таинственные явления», объявить их реакционными предрассудками, пережитками прошлого. Однако автор этих «идеологических откровений» был прав в одном: да, и рифма, и патриотизм хотя и представляют понятия разной степени общественной значимости, все-таки каждая по-своему есть проявление общественного опыта, сознания в разных сферах жизнедеятельности. Форма всегда содержательна.

Поэтический строй лирики Рубцова — в традициях русской классики, об удивительной благословенности слова которой прекрасно сказал Гоголь: «Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рождение верховной трезвости ума». Голос Рубцова действительно порою обретал живительную силу вещего звучания русской классики. Магия лучших образцов рубцовой лирики не в завораживании читателей и слушателей гоготаньем согнанных в стадо согласных и гласных: «Я — голос... Я — голод... Я — горе... Я — Гойя», не в шаманстве свистящего шепота сползающих в клубок шипящих: «Чую Кучума, чую кольчугу, чую мочу». В магии лучших рубцовских стихов явственно ощутима та «сила благодатная», которая рождается в «созвучье слов живых»:

И забытость болот, и утраты знобящих полей —
Это выразят все, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей...
Вот летят... Вот летят... Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеют душа и природа,
Оттого что — молчи! — так никто уж не выразит их...

Именно о таких стихах говорят справедливо, что они не пишутся, но выпеваются: здесь слово живорож-

денное и животворящее. Но ведь, кажется, и интимно-лирическое?

Сегодня у нас немало поэтов, претендующих на миссию гражданского осмысления прошлого и настоящего. Но фамиллярно-потребительское отношение к истории совершенно чуждо поэтическому сознанию Рубцова. В его стихах нет заявлений о любви к Родине, к ее истокам, о причастности к жизни народа, но стихи в высшей степени патриотичны, историчны и народны.

Мы привыкли считать историей последовательность важнейших событий в жизни народа, страны. И это правильно, конечно. Но ведь за этой видимой последовательностью стоит и «невидимая» история преемственности общенародного сознания, чувства земли, Родины, жизни, духовных, нравственных и других общественных ценностей. В поэзии история и раскрывает свою сокровенную сущность, ту, что является истоком исторических деяний, то «золото сердца народного», которое и есть неизменное нравственное обеспечение наших побед и свершений. Это общенародное, исторически преемственное, но непреходящее духовное достояние и запечатлено в стихах Рубцова как обычный, но вместе с тем и лирически возвышенный момент. Патриотизм этих стихов не демонстрирует себя, он живет естественно в самом чувстве кровной слиянности поэтического сознания с исторически обусловленным мироотношением целого народа. Это же чувство, которое в иных формах более прямо высказано:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Такая священная трепетность любви к Родине, к духовной сущности ее исторического движения не может

позволить поэту использовать историю как фон или как материал, пусть и претендующий «на грандиозность», интерпретаций, намеков, истолкований.

У Рубцова нигде нет легкомысленной, а потому — легковесной эксплуатации исторических, общенародных ценностей. У него всюду ощутима личная, как правило, сопряженная с общенародной, заинтересованность в судьбе Родины. Многие его стихи и воспринимаются как гимны-заклинания:

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

В таких стихах заложена удивительная вера-убеждение в магическую силу слова-деяния. Не такие ли стихи-гимны пели и древние пахари?

Но перед нами — не стилизация, не попытка подделаться «под старину», а, безусловно, стихи современные, рожденные сознанием вполне определенного пространства и времени. Такие стихи лишней раз напоминают о том, что, говоря о гражданской ответственности поэзии, мы не имеем права путать стихотворные декларации с истинно поэтическим содержанием. Лирика Рубцова принадлежит к тем не столь частым, но подлинно поэтическим явлениям, в которых гражданственность, патриотизм, историзм мышления — не служебные покровы, «накинутые на плечи» стихов, но плоть их и кровь, духовная сущность самой их художественности и музыкальности.

В звуках лирики Рубцова содержится музыка дорог, в них сквозит беспредельность, открытость, в них просторно дышать слову. Сравните с внешними, так называемыми «рублеными ритмами», якобы соответствующими

щими стилю современной эпохи, хотя бы такие стихи поэта: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» Иному из современных поэтов одной этой строчки хватило бы, чтобы сделать пять-шесть ступенек.

Стихи Рубцова сами просятся на музыку. Скорее, даже сама музыка просится из стихов: их не нужно перекладывать на музыку — ее нужно просто улавливать, слышать, как слышали музыку песен, былин, сказаний в ритмике их сочетаний древние певцы-гуслияры, сказители. Многие стихи Рубцова — это песни и в эпическом смысле. Вслушаемся в музыку хотя бы вот этой строки: «Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...» Музыкальная открытость, возвышающий простор строки сродни эпическому ладу древних поэм. И сама лексика таких стихов («восток огнеликий») — не от бенедиктовски-северянинских красотей, но из той же эпической традиции. Здесь нет ни намек на стилизацию или на то, что называют литературной реминисценцией, художественной цитатой, подражанием.

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром...

Эта светлая печаль не из Пушкина («Печаль моя светла»), но конечно же от Пушкина. Здесь не цитата, а родственность мироотношений, рождающая созвучие, музыку состояний.

Естественно, мы далеки от мысли считать поэзию Рубцова явлением пушкинского порядка и по объему сделанного, и по мощности, значимости самого поэтического таланта, по силе духовного воздействия на современников, по уровню мышления и дарования. Речь идет о том, что Рубцов — «неведомый сын удивитель-

ных вольных племен», как сказал о себе поэт, — все-таки, как и Пушкин, из той же традиции, берущей начало в непреходящих основаниях народной нравственности, в истоках народных представлений о правде, добре, красоте. Словом, из той почвы, из которой вышла вся русская классика: Лермонтов, Тютчев, Фет, Некрасов, Блок, Есенин...

Во всяком случае, лучшие стихи Николая Рубцова: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Журавли», «Видения на холме», «Старая дорога», «В минуты музыки», «Над вечным покоем», «В святой обители природы», «Душа хранит», «Ферапонтово» — такие стихи не стыдно поставить в единый ряд русской поэтической классики.

Конечно, в сборник вошло немало слабых или неудачных опытов поэта. Большинство, но далеко не все собрано в особую рубрику «Из ранних стихов». Думается, что, хоть они не могут представлять лицо творчества Рубцова, все-таки и в знакомстве с ними есть свой глубокий смысл: лишний раз убеждаешься в том, сколь напряженной и духовно наполненной была дорога поэта к обретению себя. От изначальной искренности дарования до искренности мастера предстоял нелегкий творческий путь.

Тем, кто видит в поэзии, в художественном творчестве вообще — не просто способ, так сказать, культурного времяпрепровождения «в час перед обедом» или на «сон грядущий», не только возможность личного эстетического наслаждения, тем, для кого поэзия, кроме того и главным образом, еще и выражение творческих возможностей целого общества, отражения его духовных запросов, для кого поэт не сам по себе, но детище всего народа и способ его духовного самовыражения, — тем такие явления, как поэзия Рубцова, говорят многое и о многом.

И все-таки напомним: он ощущал, что само по себе его творчество — еще не большая дорога, но уже ее подорожники. И потому такое значительное явление еще более отраднo внушаемой им надеждой на будущее слово: «Грядущий за мною — сильнее меня», «Идущий осилит дорогу».

Николай Рубцов — все еще наш современник. В прошлом году ему исполнилось бы только сорок лет. Сложно сказать, какие замыслы, какие надежды ушли с ним. Продолжают творить его спутники по общему пути, появились новые поэтические имена, а с ними — и новые надежды. Но творчество Рубцова уже сегодня вполне определилось среди безусловных имен в том поэтическом ряду, для которого важна не столько временная последовательность предшественников и преемников, сколько непреходящая причастность каждого из них к духовной жизни народа в его историческом движении.

Роберт Винонен

САМАЯ СМЕРТНАЯ СВЯЗЬ

I

Главный критерий поэтической истины — органичность.

Стихотворение — организм. Оно существует, переживая автора и его поколение. Потому что, хочешь — верь, хочешь — не верь в бессмертие души, а литература без этого — ничто. Она всегда — как бы спасение души, передача ее дальнейшим людям. В помощь им на неведомом пути. Не слова же, составленные из букв, вручаются бумаге. Да и бумаге ли? Наверно, наверно, все-таки — уму и сердцу. Стало быть, мысль и чувство — вот что составляет душу, спасаемую в произведении от смертной участи ее создателя.

Мысль...

Но много ли мысли в сообщении Пушкина, что он помнит чудное мгновение, или в сетовании Лермонтова, что некому руку подать? А ведь это наиболее пытливые умы нашей классики. Вот и согласишься с Тютчевым: «Мысль изреченная есть ложь». «Изреченная» применительно к нашему разговору можно прочесть как «извлеченная» из произведения — такая мысль в искусстве и впрямь представляет собою жалкое зрелище.

Трудно бывает в поэзии отличить подлинное от мнимого — не потому ли, что перепев совершается на уровне мысли, к которой пристроиться легче всего?

Время, конечно, кого надо — разоблачит, но время еще должно пройти... А «лицом к лицу лица не увидеть».

Кто отплывал в Ленинграде от пристани у Тучкова моста на Петергоф или Кронштадт, наверняка наблюдал, как из ровного месива зданий начинает расти купол Исаакиевского собора. Удивляешься, насколько же выше прочих. Странно: в городе не замечал.

Такое случается с поэтами. Неожиданная смерть Николая Рубцова остановила его перо. Но сразу дала нам, охваченным скоростями жизни, необходимое удаление, чтобы мы увидели явление в целом. На поэтическом горизонте. И вновь помнится есенинское: «Большое видится на расстоянии».

Но чем же оно, это явление, большое? Всякий знающий стихи Рубцова должен признать, что в области мысли поэт не был силен:

Сапоги мои — скрип да скрип под березою,
Сапоги мои — скрип да скрип под осиною.
И под каждой березой — гриб подберезовик.
И под каждой осиною гриб — подосиновик!..

Во множестве стихотворений поэт говорит о том, как любит родину, — но кто об этом не писал и не пишет? Он печалится о неразделенной любви — и этим никого не удивишь. Неизбежность покинуть «сей образ прекрасного мира»? Тоже не новость!

Остается чувство. Может быть, здесь кроется что-то необыкновенное, оригинальное — в мироощущении? В душе, овеянной стихами Рубцова, преобладает настроение светлой грусти, перемежаемой срывами во мрак и тревогу. Понятно, что и тут — ничего по части новизны, исключительности.

Русь моя, люблю твои березы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез...

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

Вторая строфа, как понял читатель, принадлежит Есенину, но что-то есенинское есть и в первой... А разве не тютчевский порыв к лунному морю — «в этом сиянии... все потопил бы и душу свою» — ведет и Рубцова в стихах «Ночь на родине»?

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром...

Поэт находился под властным обаянием отечественной классики. Он отчетливо сознавал это. Помню его студентом Литературного института имени Горького — идет коридором общежития, курит на ходу, не отрываясь от книги небольшого формата. Остановил меня — послушай: «Пустеет воздух, птиц не слышно боле; но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле».

Читая о зимних бурях, он вытянул руку — далеко, словно отмечая, насколько эта строка длиннее прочих. Его поражала свобода и выразительность ритмики. Я, тогдашний аспирант, в глубине души подивился, как поздно Николай открыл для себя Тютчева. И тут он словно подслушал мою мысль: «А знаешь, Тютчева поймет только зрелый человек!»

Замечательно, что Рубцов вышел из своей комнаты с томиком Тютчева на поиски собеседника — как со своими собственными стихами. Хотел порадовать кого ни есть. Ибо связь с предшественниками ощущал как кровную. Нельзя было не почувствовать, какая ог-

ромная работа совершалась тогда в душе поэта. Потом написалось:

Я переписывать не стану
Из книги Тютчева и Фета,
Я даже слушать перестану
Того же Тютчева и Фета...

Это было признание их власти над собой и одновременно — отталкивание. Но отталкивание творческое. Уважительное не только к учителям — к себе. Однако и себя не мыслил он вне связи с теми, кого клялся не переписывать:

И я придумывать не стану
Себя особого, Рубцова,
За это верить перестану
В того же самого Рубцова.

В его учебе у классиков не было растворения, рабски бесследного уничтожения, а в его самоопределении не было обособления. Сложная позиция, но ее-то молодой поэт и искал, о чем писал с подкупающей простотой:

Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова!

Но легко сказать: продолжить! Попробуй хотя бы «оторваться» при столь полном совпадении мыслей и чувств. Что же в таком случае делать — перещеголять мастеров в мастерстве? Развивать образную систему, потрянуть метафорой? Но и этот путь — увы! Сколько ни держу в памяти рубцовских стихов, а лишь единственное сравнение и вижу: «И долго на ветках дорожных раздумий, как плод, созревала моя голова». Какая это диковина для Рубцова, видно хотя бы из того, что он использует ее еще раз:

Неужели

в свой черед

Надо мною смерть нависнет, —

Голова, как спелый плод,

Отлетит от веток жизни?..

Понимая, что слияние мысли с эмоцией происходит в художественном образе, Рубцов все-таки не прибежал к ярким краскам и броским выражениям. Не умел? Скорей — не хотел. Захоти он — выучился бы. И писал-то не бог весть о чем: «Сапоги мои — скрип да скрип...»

Как-то на одной из студенческих вечеринок читались стихи — по кругу. Кому-то было тесно во Вселенной, он задевал волосами звезды. У другого играли ассонансные рифмы вроде «интересно — интеллекта», в белых стихах третьего рифма роскошно отсутствовала... Настал черед поэта-первокурсника из Вологды.

И произошла некоторая заминка: больно уж все просто, даже наивно было в его стихотворении. Так и было сказано: мол, парень ты хороший, но поэзия — дело серьезное. Дружески похлопали автора по плечу. И Коля заметно смутился, отвечая, что у него, дескать, есть и другого плана стихи, но прочтет их не в этот раз...

Такой эпизод, конечно, мог лишь способствовать углублению его природной замкнутости. Не оттого ли он, мужая, так цепко потом держался за «книги Тютчева и Фета»? Искал более серьезного общения. Много позже, когда уже вышла в свет «Звезда полей», сделавшая автору «имя», Рубцов возник у меня на пороге, пошатываясь и ничего не говоря. На мое «здравствуй!» резко отнял от губ окурок и рубнул рукой воздух:

— А! Все равно я пишу лучше вас всех!

Сказал и исчез, растаяв в коридорной мгле.

Был он прав.

Не потому, что виртуознее владел формой. Правда, культура его стиха высока. «Дремлет на стене моей...»

вся строка нанизана на ударный звук «е». Следующий стих — «ивы кружевная тень» — загодя несет на себе эвфонический отпечаток своей пары: «будет хлопотливый день». Профессионалы знают, что такая переключка звуков в строфе неосознанна, но не случайна. У Рубцова же можно подыскать множество примеров искусной аллитерации:

Взглянул на кустик — истину постиг...
Меня ведь свалят с ног снега...
Тихо ответили жители...

Упрямо волны двигала Двина,
Родная рында звала на работу!

Поэт любит точную рифму. В то же время, обладая тонким слухом, ценит и легкий «расщеп» в рифменном созвучии, придающий последнему особую свежесть: «Венера — звенела», «вырубках — выругал», «крякали — корягами»...

И все же, конечно, не в мастеровитости, не в техническом совершенстве своеобразие Рубцова. Тут он имеет много равных себе, если не превосходящих. Он и не пытался участвовать в таком соперничестве. Пример с рифмой говорит опять-таки о том, что поэт мог, а не о том, чего он хотел. Потому что преобладает у него все-таки рифма архитрадиционная: «флоте — работе», «волн — полн», «старухи — мухи», «жары — комары»...

Рубцовское самоутверждение «пишу лучше вас» лишено бытовой суетности, ибо означало осознание причастности к великим традициям. Он мог писать кое в чем «хуже», слабее других, но все равно был на верном пути. Чувство пути и не давало ему уклониться от собственной поэтической судьбы. Ведь литературно-стилическая обстановка таила в себе немало соблазнов. Как удержаться от творческого изыска, отказаться от неведомого еще житейского комфорта, связанного с успе-

хом? Много благ и возможностей уходило от него сквозь пальцы из-за беззаветного служения своему делу, сокровенной духовной цели. Эта память о своем предназначении, скорей всего, и делала поэта малоудобным в общении. Ведь ему надо было столько преодолеть в себе и вокруг! Сиротское детство, подорванное здоровье, трудный характер, известная нехватка трезвого взгляда на жизнь — на все это глаз не закрыть. И не надо закрывать. Довольно вспомнить слова Михаила Пришвина, которые могут быть иносказанием о любом художнике: «Ночная птица соловей поет — слышат все, а певца не видно. А если и увидишь при свете, то что прибавит к песне вид серенькой птички». Эту неказистую с виду «птичку» любили все люди — за талант, за умение самому подбирать мелодии к своим стихам и петь их под гитару.

Много мы говорим и пишем — страницы этой статьи не исключение — о творческой индивидуальности, необходимой писателю. Но есть еще и общий ход культуры. Почувствовать себя звеном в цепи — наследником, с одной стороны, и предтечей конкретных духовных ценностей, с другой стороны, — разве не это и значит найти себя? В таком смысле Рубцов нашел себя рано — еще будучи довольно несамостоятельным в технологии творчества.

II

При желании в недопетой песне Рубцова, наряду с определенными заимствованиями, нетрудно обнаружить и просто поэтические пустоты. Он их допускал — значит, спросим, проявлял художественную слабость? Он их не страшился — может быть, обладая какою-то творческой силой?

Многие ли из современных стихотворцев пустили бы к себе на порог такие, в общем, банальности, как, например, «прекрасная звезда», «прекрасный поэт», «драгоценная Венера», «любовно блещет», «бедный пруд» и тому подобное? А Рубцов мог их все принять в одно стихотворение:

Где осенняя стужа кругом
Вот уж первым ледком прозвенела,
Там любовно над бедным прудом
Драгоценная блещет Венера.

Жил однажды прекрасный поэт,
Да столкнулся с ее красотой.
И душа, излучавшая свет,
Долго билась с прекрасной звездой!

Но Венеры играющий свет
Засиял при своем приближенье
Так, что бросился в воду поэт
И уплыл за ее отраженьем...

Старый пруд забывает с трудом,
Как боролись прекрасные силы.
Но Венера над бедным прудом
Доведет и меня до могилы...

Это из ранних стихов. Но что бы мы ни говорили о неопытности автора, у них не отнимешь одного важнейшего качества — цельности, внутренней непротиворечивости всех до единого слов. Странное дело — выражения, которые каждый бы из нас посчитал заведомо поэтичными, условно-литературными, отработанными, как пар, — эти эфемерности прижились к эмоциональному стволу стихотворения, действительно напоминающему живое дерево. Оно волнуется и волнует. И оно, между прочим, оказалось пророческим...

Выбор красок у Рубцова обычно так непосредствен и прям, а внутренний жест так широк и естествен, что не приходит на ум помнить о стертости-свежести того или иного слова, влившегося в речь. Небоязнь случай-

ного, привычно-инстинктивного движения руки в поиске единственно нужного в данный миг штриха — свойство прирожденных художников.

Рубцов вовсе не претендует на оригинальность каждого слова, каждого стиха в стихотворении. Более того, у него трудно вычленить какой-либо особый поэтический ход, отдельный прием, где бы вполне выразилось его, рубцовское, не бывшее ни у кого другого. Поэт и впрямь не стал придумывать «себя особого». «Свое» и «чужое» у него растворено в какой-то сокровенной сути, притягательность которой властно заявляет о себе и в так называемых ранних и в поздних стихах.

Лишь выразительностью целого измерима эта внутренняя гармония и красота. Отдельные, будничные слова вступают в органический союз — в речь, которая оказывается поднята над прозой целостностью мироощущения.

Среди современников Рубцова братья по духу — Александр Романов и Анатолий Жигулин, мастера автологической речи.

С течением времени Рубцов от банальностей избавлялся. Но в его строке, становящейся, может быть, более индивидуальной, по-прежнему не было незнакомости. Напротив, система его художественных средств характеризуется все большей узнаваемостью:

Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.
И тихо так, как будто никогда
Природа здесь не знала потрясений.

Смотрите, как тут слово слито с жестом. «Высокий дуб» — вертикаль вверх. «Глубокая вода» — внезапное падение. И поперек — будто пространство перекрестили — «спокойные кругом ложатся тени». Сразу же, с первых аккордов, распахнут весь трехмерный простор, куда прямо-таки хочется шагнуть. Влечет к себе эта

ясность, промытость дали и чистота близи, равная чистоте и просветленности внутренней, душевной. «Перед этой желтой, захолустной стороной березовой моей, перед жнивой пасмурной и грустной в дни осенних горестных дождей, перед этим строгим сельсоветом, перед этим стадом у моста, перед всем старинным белым светом я клянусь: душа моя чиста...»

Чистая душа — это, пожалуй, главный образ или, если угодно, метафора, созданная Рубцовым при помощи слов и ритмов. Чистота — сестра цельности, духовной монолитности. Стихи, исторгаемые непосредственно из души, также лишены образной мелочности, свободны от культа художественной подробности, от «ячества» детали, свойственной стилю барокко. Подобно железным опилкам в сильном магнитном поле, поэтические частности подчиняются воле полюсов, теряя самодовлеющее значение, служа целому. В этом, надо думать, Рубцов следует народной поэзии, всегда берущей реалии крупно, целиком: лес, небо, дождь, береза — еще, пожалуй, лист, но уж, конечно, без описания его прожилок и вздрогов. Он не погружен, как другой прекрасный поэт, «в отделку кленового листа — со дней Экклезиаста не покидал поста» (Пастернак). Пристальность Рубцова иная:

Я так люблю осенний лес,
Над ним — сияние небес,
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист,
Иль в дождевой веселый свист,
Но, превратившись, возродиться
И возвратиться в отчий дом,
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою большою
Сказать: «Я был в лесу листом!»
Сказать: «Я был в лесу дождем!»
Поверьте мне: я чист душою.

Пристальность такого взгляда — не в шлифовке сторон, а в прояснении всего объема бытия. Вот в этом народная песня наверняка оказала влияние на поэта, росшего в архангельской да вологодской глубинке. И едва ли справедливо категоричное отрицание этого влияния, например, В. Кожинным: «Винюсь, что я и сам в свое время непродуманно писал о мнимом родстве поэзии Рубцова с фольклором».

Но сам критик в своем вообще-то полном верных наблюдений очерке о поэте, разумеется, не мог не отметить нечто фольклорное, некую словно бы анонимность — «ощущение самородности, нерукотворности, безначальности стихов». Именно это ощущение и заставляет вспомнить о народной поэтике, рисующей дуб — «высоким», речку — «быстрою» или «глубокою».

Эпитет у Рубцова лишен импрессии. Поэт борется за более устойчивое, долговременное и всеобщее качество предмета. Он опускает мимолетное впечатление — с тем, чтобы полнее сосредоточиться на другой неуловимости: лирическом переживании. Отсюда — сила музыкального начала. Однако речь тут не об эвфонической стороне стиха, не о звуковой гармонии, нет — захватывает главным образом мелодия чувства, проникновенность, пронизанность души тем, о чем рассказывают стихи.

Обращаясь к человеческому содержанию поэзии Рубцова, видишь, что это в основном очень «личные» стихи. Темы их подсказаны случившимися с автором — персонально с ним, Николаем Михайловичем Рубцовым, 1936 года рождения, уроженцем Северной Двины, воспитанником детского дома, затем — рабочим, матросом и студентом, а ныне — поэтом.

«В детстве я любил ходить пешком. У меня не уставали ноги», «Мне лошадь встретила в кустах. И вздрогнул я...», «Люблю я деревню Николу, где кончил начальную школу!». Все — прямая правда.

Но ведь есть, говорят, правда жизни и есть правда искусства. Что же за лицо у рубцовской поэтической правды? Лирик не может говорить о мире иначе как через себя, жертвуя сокровенностью собственного ранимого сердца. Вот откуда его многочисленное «я» — «я», лишенное боязни насмешки и стыда обнажения. Лирик не боится и не стыдится, ибо его исповедь — не только за себя. Есть в ней сила, объединяющая людей. Творческий акт и совершается-то из потребности превратить «я» в «мы». Он, стало быть, есть преодоление внутреннего одиночества. У каждого поэта оно происходит, видимо, по-своему. Возьмем один пример, на мой взгляд, противоположный тому, как оно присуще Рубцову. Стихотворение Арсения Тарковского:

На черной трубе погорелого дома
Орел отдыхает в безлюдной степи.
Так вот что мне с детства так горько знакомо:
Видение цезарианского Рима —
Горбатый орел, и ни дома, ни дыма...
А ты, мое сердце, и это стерпи.

Картина послевоенного детства. Впечатляющий символ горя и лишений — горбатый орел на черной трубе. Страдание концентрируется с такою силою, что тень его ложится на всю человеческую историю — до римских изгнаний... Такая боль не может оставить читателя равнодушным. И мы оказываемся в мире поэта. Мы приглашены разделить его горе.

У Рубцова иначе. Вот та же тема сиротства, та же, казалась бы, боль:

Мать умерла,
Отец ушел на фронт.
Соседка злая
Не дает проходу.
Я смутно помню
Утро похорон
И за окошком —
Скудную природу.

Откуда только —
Как из-под земли! —
Взялись в жильё
И сумерки, и сырость...
Но вот однажды
Все переменялось:
За мной пришли,
Куда-то повезли...

Поэт естественно подводит нас к разговору о холоде и тоске детдомовских ночей, о скудости пайка, сиротской доле. Но разговора этого не затевает.

Вот говорят,
Что скуден был паек,
Что были ночи
С холодом, тоскою, —
Я лучше помню
Ивы над рекою
И запоздалый
В поле огонек.

До слез теперь
Любимые места!..

Человек страдал, но выстрадал возможность не сетовать на судьбу: «Я люблю судьбу свою...» — скажет он в другом стихотворении. Да и здесь — его «теперь любимые места». Он не сетует и не советует — «стерпи», — а зажигает для нас далекий огонек, чтоб мы прошли мимо его личного холода, тоски и одиночества. К безукоризненным стихам Тарковского мы приобщились тем, что сами на миг стали одиноки. Рубцов же назначает нам встречу за пределами собственного горя — там, где брезжит добрый людской огонек.

Одно стихотворение так и называется — «Русский огонек». Одинокий путник, от лица которого все и рассказано, замечает в поле такой же одинокий огонек, что приводит его на ночлег к безымянной старухе — хозяйке этого затерянного в снежной глуши дома. Живет она

в обществе пожелтевших от времени фотографий, судьба ее близких открывается в единственном вопросе, который задает женщина:

- Скажи, родимый,
Будет ли война?
- И я сказал:
- Наверное, не будет.
- Дай бог, дай бог...
- Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибует...
- И вдруг опять:
- Не будет, говоришь?
- Нет, — говорю, — наверное, не будет.
- Дай бог, дай бог...

Эти стихи наряду с такими, как «Добрый Филя», «Полночное пенье», «В гостях», «Старик», «На сенокосе», выдают упорный интерес поэта к жизни других людей. Казалось бы, что лирику до их простых судеб? Своему собственному сердцу впору сказать: терпи! Но бытие этих вроде бы случайно встреченных людей кажется простым лишь на первый поверхностный и эгоистично-равнодушный взгляд. Всмотритесь в них, читатель Рубцова, — перед вами живые кладези доброты, тепла и приветия! Когда отогревшийся путник наутро прерывает молчание хозяйки «русского огонька» «глухим брэнчанием монет», та вся вострепелулась:

- Господь с тобой! Мы денег не берем!
- Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья!
- За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...

Поистине крылатые слова. Этическое целомудрие, выразившееся в них, — не просто принцип «получил — верни». Такая мораль тоже нужна, но это уровень бытовой, общедоступный и даже общеобязательный. Рубцов же, по сути, ратует за некрасовское «великое дело любви». Да и много ли он получил от жизни, в середи-

не воюющего, недоедающего, сурового двадцатого своего столетия?

Николай Рубцов — один из поколения не перенесших начинающегося расцвета творческих сил. Перечислю хотя бы некоторых. Но пусть их список будет вертикален: ведь каждое имя здесь — намечавшаяся вселенная:

*Дмитрий Блынский
Ксения Некрасова
Владимир Морозов
Николай Анциферов
Иван Харабаров
Дмитрий Голубков
Алексей Прасолов
Николай Тарасов
Павел Мелехин*

В этом трагическом строю, повторяю, еще не все. «Пересчитай людей моей земли — и сколько мертвых встанет в перекличке». Николай Тихонов написал это в героические двадцатые годы. Потом были тридцатые. На полях Великой Отечественной пала целая поэтическая плеяда «сороковых пороховых». Из уцелевших составилось новое «военное» поколение: Евгений Винокуров, Сергей Наровчатов, Юлия Друнина, Давид Самойлов, Николай Старшинов, Сергей Викулов, Марк Соболев, Константин Ваншенкин, Михаил Львов, Егор Исаев, Юрий Левитанский, Александр Николаев, Григорий Поженян, Александр Балин, Федор Сухов, Владимир Жуков, Владимир Карпеко... Нынче это старшие, ведущие мастера стиха. Они живут и здравствуют, имея верных читателей.

А тех, кто гораздо моложе, кто пришел в литературу десятилетием позже, — сегодня уже нет в живых. Почему? Какая тут закономерность? Каждая смерть в от-

дельности — будь то Александр Вампилов в драматургии, Сергей Дрофенко в поэзии или Василий Шукшин в прозе — может выглядеть случайностью, подчас нелепой. Но когда представишь себе весь масштаб этих недавних литературных утрат, чувствуешь, что срабатывает какая-то общая причина. Видно, испытания, выпавшие на долю отцов, были так непомерны, что задели и сыновей. Осколки войны до них не долетели, но достала невидимая ударная волна, и не все устояли.

Но в то же время сколько света, радости, жизнелюбия в их недопетых песнях! Потому, знать, и сильно у всех чувство благодарности к миру, веку, родине. Что измеряется оно не количеством полученных благ. Нет, здесь что-то явно иное — больше, нежели обыкновенное чувство долга. Думается, это фантастическое бескорыстие органически входит в самую природу таланта, который неспроста по-русски именуется даром Божиим. Взять ближайшую нашу классику. Михаил Исаковский:

Я думаю о прожитых годах,
О юности, глухой и непогожей,
И все, что нынче держим мы в руках,
Мне с каждым днем становится дороже.

Или вот Николай Заболоцкий. Его стихи «Творцы дорог» — это ли не мажорный гимн человеку и его труду?! Между тем автор копал далекие северные недра отнюдь не по своей воле: не тот возраст и характером домосед. Но, оглядываясь, написал:

Нас ветер бил с Амура и Амгуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед,
Но все, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет...

Похожая судьба у Анатолия Жигулина — и та же небываемость духа в его поэзии, несогласие жить узкими обидами и лишениями.

Так и у Рубцова, который отзывчив на любое малейшее проявление добра. В его сердце как бы происходит постоянное увеличение встречаемого тепла и света. И они, верится, не иссякнут, пока живы поэты: «расплавимся любовью»...

III

Каждое стихотворение Рубцова — это отрезок его неизменного пути на огонек. К какой ни есть живой душе. В веселом «Экспромте» он радовался дороге, которая всегда его ждет:

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком —
И буду жить в своем народе!

А в грустно-раздумчивых «Осенних этюдах» его тяга к людям обнаруживается с другой стороны; встреча с болотной гадюкой наводит автора на пугающие мысли: «И понял я, что это не случайно, что весь на свете ужас и отравы тебя тотчас открыто окружают, когда увидят вдруг, что ты — один».

В каждом из этих примеров — еще не весь Рубцов, если говорить о его своеобразии; это — его разные полюса. Однако из чисто механического сложения «бодрой» и «печальной» частей — Рубцова мы тоже не получим. Этот поэтический мир, где есть место и радости и грусти, — единство не физическое, а химическое, что ли, на уровне мельчайших молекул. Преодолевая стихами свое одиночество, он вместе с тем вовсе не отказывается от него, каким бы тяжким оно ни было. Точное ощущение того, как нелегко бывает человеку наедине с собой, передано в стихотворении «Бессонница»:

Окно, светящееся чуть.
И редкий звук с ночного омута.
Вот есть возможность отдохнуть...
Но как пустынна эта комната!

Мне странно кажется, что я
Среди отжившего, минувшего,
Как бы в каюте корабля,
Бог весть когда и затонувшего.

Что не под этим ли окном,
Под запыленной картиною,
Меня навек затянет сном,
Как будто илом или тиною.

За мыслью — мысль: какой-то бред.
За тенью — тень: воспоминания.
Реальный звук, реальный свет
С трудом доходят до сознания.

И так раздумаешься вдруг,
И так всему придашь значение,
Что вместо радости — испуг,
А вместо отдыха — мучение...

У подлинного поэта нет вещей случайных, все они видимо или невидимо взаимосвязаны, окликают друг друга, «аукаюсь». Так и «Бессонница» подает весть «Ночи на родине», где поэту не жаль душу «всю потопить в таинственном и милом» лунном свете. Желание раствориться, вручить себя кому-то или чему-то вылилось и в стихи о белой северной ночи:

О, этот светлый
Покой-чародей!
Очарованием смелым
Сделай меж белых
Своих лебедей
Черного лебеда — белым!

Но он, повторяю, дорожил этим состоянием собственной «неврученности» кому-то или чему-то конкретно. Ведь своим колоссальным и мучительным одиночеством он может припасть сразу ко всему простору бытия и даже коснуться на его границах чего-то

потустороннего... Поразительны стихи «Вечернее происшествие». Их мог написать лишь человек, постоянно прислушивающийся к слышимому и всматривающийся в видимое, чтобы услышать неслышимое и узреть незримое:

Мне лошадь встретилась в кустах.
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза...

Не теряя чувствам, пути к человеку, Рубцов чутко настроен к обочинам этого пути. Он уверился, что «реальный звук, реальный свет, чем живы люди, слишком глубоки и непостижимы». Дар чутать эту глубину и эту непостижимость, путая и радуя, не позволил поэту полного и бесследного растворения в так называемой злобе дня. Добираясь домой на попутных машинах, он не налюбуется лихой работой шоферов (надо знать ухабистость вологодских дорог!), но «где-то в зверином поле сошел и пошел пешком» («На родину!»). Поэт силится разомкнуть бытовую ограниченность всего, что становится предметом его поэзии. «За стенкой с ребенком возились, и плач раздавался и ругань, но мысли его уносились из этого скорбного круга...» («Полночное пенье»).

У Блока есть мысль о полноте пессимистического мироощущения — равно как и оптимистического. Лишь их слияние дает единственное глубокое мировоззрение, необходимое художнику, — трагическое. Рубцов, думается, им обладал.

Однажды на вечере памяти Николая Рубцова в ЦДЛ (январь 1979 г.) председательствующий Владимир Соколов в своем проникновенном слове о поэте допустил незначительную, казалось бы, оговорку, которую, наверно, мало кто и заметил. Цитируя одно из лучших стихотворений Рубцова «Тихая моя родина», он в строфе

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь —

заменил «избу» «звездой». О таком пустяке не стоило бы говорить, если бы дело нечаянно не коснулось как раз мироощущения, предельно четко воплощенного в этой строфе. Действительно, звезда и туча, находящиеся, на земной взгляд, рядом. Это один угол зрения. Очи романтика оптимистически подняты к небу. Строка однозначна и неподвижна, ибо не все ли равно — звезда, туча...

Но не все равно. Их противостояние неспроста ассоциируется «с громом, готовым упасть». Изба словно поставлена на широкую наковальню под уже занесенным молотом. Пространство между «избою и тучею» полно затаившейся и небезопасной, но прекрасной силы, огня. Их-то и чувствует поэт как «самую жгучую, самую смертную связь». Жгучую. Эпитет несет предощущение молнии. Смертную. Высокотрагедийная завершенность картины. Но она придает полноту и прочность земной доле, замыкает ее на живом трепете. Мы словно прикасаемся к проводу высокого напряжения. Это ощущение передается немедленно и властно, уничтожая декларативность общей мысли, неизбежную при замене избы на звезду.

Гром, готовый упасть, — очень характерный для Рубцова образ тишины. Глубоко внутренняя динамичность его свидетельствует о большой жизненной силе, двигав-

шей перо поэта, несмотря на частые у него мотивы грусти и даже тоски. Его мир — весь в движении. В нем люди и вещи, крепкие сами по себе, лишены той мертвящей статичности и успокоенности, которые встречаются в стихах созерцательного толка. Правда, стиху Рубцова тоже не свойственна предельная, балладная скорость, грешит он подчас и прямой описательностью. Но при описании или просто перечислении чего-либо поэт умеет поставить видимое как бы на самую ненадежную точку. Например, «Вологодский пейзаж»:

Там, за рекою, свалка бревен,
Подъемный кран, гора песка.
И торопливо — час неровен —
Полощут женщины с мостка
Свое белье...

«Час неровен!» Это не случайно подмеченная мелочь, а всегда присутствующая в стихах Рубцова напряженность, которой жива жизнь. Час не ровен — слышится и в стихотворении «Поезд»:

Поезд мчался с полным напряженьем
Мощных сил, уму непостижимых,
Перед самым, может быть, крушеньем
Посреди миров несокрушимых...

Иногда ощущение «перед крушеньем» вплотную подходило к его мистическим, галлюцинативным образам, как, скажем, в «Прощальной песне»:

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Все мне слышится словно в бреду...

Тогда перед поэтом явственно — «как из-под земли!» — вставали угрозы небытия. Но, кстати говоря, этот мотив — мотив затаенного прощания со всем сущим — слышен в большинстве стихов Рубцова. Даже там, где он бесхитростно радуется возможности смотреть, дышать,

жить. «Наслаждаясь ветром резким, допоздна по вечерам я брожу, брожу по сельским белым в сумраке холмам...»

Неминуемость ухода становится у него глубоким и чистым источником поэтического вдохновения. Как будто прощание с предметами, которые полнят пространство жизни, или с событиями, из коих соткано время, открывает поэту нечто новое в людях и вещах. А пожалуй, так оно и есть! Смерть как разлука со всеми навеки понимается одновременно как прощание с их конечностью, сиюминутностью, ограниченностью, обусловленной субъективностью и кратковременностью человеческого восприятия. Вот оно, желание души «всю потопить в таинственном и милом». На первый план выступает то светлое скрепляющее начало, та надмирная музыка, коей подчинено все на свете, но о которой люди склонны забывать в суете дней своих.

Здесь каждый славен — мертвый и живой!
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвою,
Перекликаясь с теми, кто пришел,
Перекликаясь с теми, кто проходит...

Тема смерти у Рубцова — это тема бессмертия. «Он нас на земле посетил, как чей-то привет и улыбка», — сказал поэт в память о Николае Анциферове. Мы не можем читать эти строки так, будто они относятся к самому Рубцову. Не жил и умер навсегда, но — посетил. Масштаб вечности присутствует в глаголе.

Мысль, чувство, образ — три координаты, образующие лирическое пространство стихотворения. В каждом из этих измерений возможны пересечения с предшественниками. Они в частном плане даже, наверно, неизбежны — влияния, подражания, просто художественные совпадения. Ибо в классике, в общем-то, все о человеческой душе и природе продумано, прочувствовано, все всему уподоблено. Крут тем — разве он не огра-

ничен? Техника стиха? Попробуйте достать до пушкинского...

Да, в умении видеть глазами и слышать слухом (цвет, свет, звук, ветер...) Рубцов был не слабее других. Но и — не намного сильнее. Сильнее многих современников он был в способности видеть и слышать душой. Вот в этом, можно сказать, четвертом измерении коренится его своеобразие и его значение для поэзии наших дней. Он не искал для своих стихов совсем уж необыкновенного слова. Но и в том, что ему удалось сказать, чувствуется знание какой-то невидимой в быту границы, за которой угадывается нечто нравственно незыблемое, где обрываются большие и малые неправды и обиды. Остается лишь Добро, безгрешность и святость — не убоимся последнего слова. Поэт его любил. Недаром он «смотрел на окрестности те, где узрела душа Ферапонта что-то божье в земной красоте». Надо ли оговаривать, что о земле он писал, о земле!

Странно Рубцов назвал свою последнюю при жизни книгу — «Зеленые цветы».

Как не найти погаснувшей звезды,
Так никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зеленые цветы...

Мы знаем, что поэт всегда чувствовал себя «перед дорогою большою». Мы знаем, куда звала его дорога — в родные края, к родным незнакомым людям. Но ведь родина есть нечто вполне достижимое: «Пройду по волоку с мешком — и буду жить в своем народе!» Однако понятие родины для него неизмеримо шире, нежели какое-то село и такая-то речка, хотя лишь они предстают глазам при свидании. Рубцов, похоже, мог бы повторить следующую запись в пришвинском дневнике: «...Я был прав в своей мечте: неведомая страна существует, и это и есть моя родина».

Не вычитанная из книг страна, но и не ограниченная ежедневными видимостями — «ивы, река, соловьи» — сельщина. То был его дар, его счастье и мука. И не там ли росли «зеленые цветы»? Не потому ли среди родных людей (а не родственников, которых он, кажется, не знал), в родной природе так часты у поэта тревожные признания?

И мысль, летая, кого-то ищет
По белу свету...
Кто там стучится
в мое жилище?
Покоя нету!

В одной смятенной строфе томятся и бьются два взаимоисключающих желания. Мечта «кого-то ищет» (кого — бог весть) и в то же время не рада случайному стуку в дверь: «Покоя нету!» Как знать, может, пример пригодился бы философу Н. Бердяеву для иллюстрирования крайней поляризованности русского сознания... Нам же надо понять, что мечта поэта потому не реагирует на стук в дверь, что она каким-то образом знает, чего и кого ищет, хотя и не может назвать. По существу это была неуловимая весть из того края счастья, любви и гармонии, память о котором так часто придавала поэту отсутствующий вид. Но когда он всматривался в лица людей, в глаза животных, в шумящие ивы и березы, в линии берегов, контуры стогов и крыш, — очертания «неведомой родины» оказались до озноба реальными...

Подытоживая эту статью о поэте, я, пожалуй, не решусь назвать наследие Николая Рубцова новым крупным шагом, дальнейшим развитием русской поэзии. Но это было услышанное всеми напоминание о том, какую поэзия должна быть. Жадно учившийся у жизни и классики, Рубцов и сам может научить нас главному — неподдельности поэтического слова.

Содержание

<i>Н. Попов.</i> ЗАРНИЦЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ	5
<i>А. Жуков.</i> СОЛОВЕЙ В ТЕРНОВНИКЕ	53
<i>Э. Крылов.</i> НА ПЕРВОМ КУРСЕ	78
<i>В. Макеев.</i> И ВСЕЙ ДУШОЙ, КОТОРУЮ НЕ ЖАЛЬ... ..	85
<i>В. Солоухин.</i> Я – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДКОМА	95
<i>А. Азовский.</i> ЯНВАРСКАЯ ЗЕМЛЯНИКА	102
<i>Н. Аладьин.</i> ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ	110
<i>В. Астафьев.</i> ЗАТЕСЬ О НИКОЛАЕ РУБЦОВЕ	115
<i>С. Куняев.</i> ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ	156
<i>А. Михайлов.</i> О НИКОЛАЕ РУБЦОВЕ	161
<i>Ю. Кузнецов.</i> ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА	164
<i>А. Сизов.</i> ПО ЛЕСАМ ВЕТЛУГИ	165
<i>В. Кортаев.</i> ГИРЯ ДОШЛА ДО ПОЛУ	182
<i>В. Кожин.</i> НИКОЛАЙ РУБЦОВ	199
<i>М. Лобанов.</i> СТИХИЯ ВЕТРА	209
<i>Ю. Селезнев.</i> ПЕРЕД ДОРОГОЮ БОЛЬШОЮ	218
<i>Р. Винонен.</i> САМАЯ СМЕРТНАЯ СВЯЗЬ	230

Попов Николай Васильевич

НИКОЛАЙ РУБЦОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ ДРУЗЕЙ

*Ранее не опубликованные
стихотворения материалы*

Ответственный редактор *Ю.И. Шенгеля*

Художественный редактор *И.А. Озеров*

Технический редактор *Н.Н. Должикова*

Корректор *А.В. Максименко*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.03.2008.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская. Гарнитура «Петербург».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 10,89.
Тираж 3 000 экз. Заказ № 2174

ЗАО «Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@DOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



*Николай
Попов*

*Николай
Рубцов*

*в воспоминаниях
друзей*

Поэзия Рубцова — одно из самых привлекательных и неоднозначных явлений русской литературы последних десятилетий. В ней искренность соединилась с природным талантом, а поэтическая чуткость — с культурными традициями. За очень короткий срок своей жизни Рубцов вернул русской лирике мировое звучание. Такова главная причина творческого бессмертия, которое обрел певец «тихой родины».

В книгу вошли ранее не опубликованные письма и стихотворения, бережно хранимые теми, кому был дорог трагический образ не обласканного судьбой таланта.

Сборник составлен из воспоминаний друзей поэта, среди которых такие значимые литературные фигуры, как В. Солоухин, Ю. Кузнецов, В. Астафьев, В. Кожин, С. Куняев, А. Михайлов и многие другие. Они рассказывают о ярких впечатлениях, незабываемых встречах и неизвестных эпизодах, связанных с личностью Николая Рубцова.

ISBN 978-5-9524-3626-8



9 785952 436268

ЦЕНТРОЛИГРАФ®